

АРКАДИЙ
АВЕРЧЕНКО



САЛАТ
ИЗ
БУЛАВОК

АРКАДИЙ АВЕРЧЕНКО



Julia Wernersmeyer
Harsdörfer Str. 1/111
8000 München 80
Tel. 089/64 74 78



Обложка работы Эрика ПЕРВУХИНА

Аркадий Аверченко

САЛАТ
ИЗ БУЛАВОК

РАССКАЗЫ И ФЕЛЬЕТОНЫ

RUSSICA PUBLISHERS, INC.
NEW YORK • 1982

AVERCHENKO, Arkadii Timofeevich. 1881—1925.
SALAT IZ BULAVOK. Rasskazy i fel'etony.
Cover design by *Erik Pervukhin*.

Compilation, arrangement and design
© 1982 by Russica Publishers, Inc.
All rights reserved.

Library of Congress Catalog Card Number: 82-60958.
ISBN: 0-89830-064-9

Russica Publishers, Inc.
799 Broadway.
New York, New York 10003.

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

В настоящем томе собраны малоизвестные рассказы и фельетоны выдающегося русского сатирика Аркадия Тимофеевича Аверченко (1881—1925), написанные по свежим впечатлениям революции и эмиграции.

Первый раздел книги, «Салат из булавок», составлен из лучших рассказов, напечатанных в 1921 году в журнале «Зарница» (Константинополь).

Второй и третий разделы представляют собой воспроизведение двух сборников Аверченко, давно ставших библиографической редкостью:

«Записки простодушного» (Константинополь, 1921) и «Двенадцать портретов знаменитых людей России» (Прага, 1923).

СОДЕРЖАНИЕ

САЛАТ ИЗ БУЛАВОК

Приятельское письмо Ленину	9
Заговорщики	13
Пролетарское искусство	17
Агитроман	19
Русские калифорнийцы	23
Планетарное	26
Две власти	31
Свобода печати	36
Смерть марксиста	40
Взрыв возмущения	45
Моя симпатия и сочувствие Ленину	48
Салат из булавок	52
Интервенция	56
Американцы	60
ЗАПИСКИ ПРОСТОДУШНОГО	65

<i>Оглавление</i>	<i>(156)</i>
-------------------------	--------------

ДВЕНАДЦАТЬ ПОРТРЕТОВ ЗНАМЕНИТЫХ ЛЮДЕЙ

<i>В РОССИИ</i>	<i>(157)</i>
-----------------------	--------------

<i>Оглавление</i>	<i>(239)</i>
-------------------------	--------------

САЛАТ ИЗ БУЛАВОК

ПРИЯТЕЛЬСКОЕ ПИСЬМО ЛЕНИНУ

Дорогой Владимир Ильич!

Здравствуй, голубчик! Ну, как поживаешь? Все ли у тебя в добром здоровье?

Кстати, ты, захлопотавшись около государственных дел, вероятно, забыл меня?..

А я тебя помню.

Я тот самый твой коллега по журналистике Аверченко, который, если ты помнишь, топтался внизу, около дома Кшесинской, в то время, как ты стоял на балконе и кричал во все горло:

— Надо додушить буржуазию! Грабь награбленное!

Я тот самый Аверченко, на которого, помнишь, тебе жаловался Луначарский, что я, дескать, в своем «Сатириконе» издеваюсь и смеюсь над вами.

Ты тогда же приказал Урицкому закрыть навсегда мой журнал, а меня доставить на Гороховую.

Прости, голубчик, что я за два дня до этой предполагаемой доставки на Гороховую — уехал из Петербурга, даже не простившись с тобой. Захлопотался.

Ты тогда же отдал приказ задержать меня на ст. Зерново, но я совсем забыл тебе сказать перед отъездом, что поеду через Унечу.

Не ожидал ты этого?

Кстати, спасибо тебе. На Унече твои коммунисты приняли меня замечательно. Правда, комендант Унечи — знаменитая курсистка товарищ Хайкина сначала хотела меня расстрелять.

— За что? — спросил я.

— За то, что вы в своих фельетонах так ругали большевиков.

Я ударил себя в грудь и вскричал обиженно:

— А вы читали мои самые последние фельетоны?

— Нет, не читала.

— Вот то-то и оно! Так нечего и говорить!

А что «нечего и говорить», я, признаюсь, и сам не знаю, потому что в последних фельетонах — ты прости, голубчик, за резкость — я просто писал, что большевики — жулики, убийцы и маровихеры...

Очевидно, тов. Хайкина не поняла меня, а я ее не разубеждал.

Ну вот, братец ты мой — так я и жил.

Выезжая из Унечи, я потребовал себе конвой, потому что надо было переезжать нейтральную зону, но это была самая странная нейтральная зона, которую мне только приходилось видеть в жизни. Потому что по одну сторону нейтральной зоны грабили только большевики, по другую только немцы, а в нейтральной зоне грабили и большевики, и немцы, и украинцы, и все, вообще, кому не лень.

Бог ее знает, почему она называлась нейтральной, эта зона.

Большое тебе спасибо, голубчик Володя, за конвой — если эту твою Хайкину еще не убили, награди ее орденом Красного Знамени за мой счет...

Много, много, дружище Вольдемар, за эти 3 года воды утекло... Я на тебя не сержусь, но ты гонял меня по всей России, как соленого зайца: из Киева в Харьков, из Харькова — в Ростов, потом Екатеринодар, Новороссийск, Севастополь, Мелитополь, опять... Севастополь.

Это письмо я пишу тебе из Константинополя, куда прибыл по своим личным делам.

Впрочем, что же это я о себе да о себе... Поговорим и о тебе...

Ты за это время сделался большим человеком... Эка, куда хватил: неограниченный властитель всей России... Даже отсюда вижу твои плутоватые глазенки, даже отсюда слышу твое возражение:

— Не я властитель, а Цик.

Ну, это, Володя, даже не по-приятельски. Брось ломаться — я ведь знаю, что тебе стоит только цикнуть и весь твой цик полезет под стол и сделает все, что ты хочешь.

А ловко ты, шельмец, устроился — уверяю тебя, что даже при Царе Государственная Дума была в тысячу раз самостоятельнее и независимее. Согнул ты «рабоче-крестьянскую», можно сказать, в бараний рог.

Как настроение?

Ты знаешь, я часто думаю о тебе и должен сказать, что за последнее время совершенно перестал понимать тебя.

На кой черт тебе вся эта музыка? В то время, когда ты кричал до хрипоты с балкона — тебе, отчасти, и кушать

хотелось, отчасти, и мир, по молодости лет, собирался перестроить.

А теперь? Наелся ты досыта, а мира все равно не перестроил.

Доходят до меня слухи, что живется у вас там в России, перестроенной по твоему плану — препротивно.

Никто у тебя не работает, все голодают, мрут, а ты, Володя, слышал я, так запутался, что у тебя и частная собственность начинает всплывать, и свободная торговля, и концессии.

Стоит огород городить, действительно!

Впрочем, дело даже не в том, а я боюсь, что ты просто скучаешь.

Я сам, знаешь ли, не прочь повластвовать, но власть хороша, когда кругом довольство, сияющие рожи и такие хорошенечкие бабеночки, вроде мадам Монтестан при Людовике.

А какой ты к черту Людовик, прости за откровенность!

Окружил себя всякой дрянью, вроде башкир, китайцев — и нос боишься высунуть из Кремля. Это, брат, не власть. Даже Николай II частенько раньше показывался перед народом, и ему кричали «ура», а тебе что кричат?

— «Жулики вы», — кричат тебе и Троцкому, — «чтобы вы подохли, коммунисты».

Ну, что хорошего?

Я еще понимаю, если бы ты рожден был королем — ну, тогда ничего не поделаешь: профессия обязывает. Тогда сиди на башне — и сочиняй законы для подданных.

А ведь ты — я знаю тебя по Швейцарии — ты без кафе, без «бока», без табачного дыма, плавающего под потолком — жить не мог.

Небось, хочется иногда снова посидеть в биргалле, поорать о политике, затянуться хорошим кнастером — да где уж там!

И из Кремля нельзя выйти, да и пивные ты все, неведомо на кой дьявол, позакрывал декретом № 215523.

Неуютно ты, брат, живешь, по-собачьему. Русский ты столбовой дворянин, а с башкирами все якшаешься, с китайцами. И друга себе нашел — Троцкого — совсем он тебе не пара. Я, конечно, Володя, не хочу сплетничать, но знаю, что он тебя подбивает на всякие глупости, а ты слушаешь.

Если хочешь иметь мой дружеский совет — выгони Троцкого, распусти этот идиотский Цик и издай свой последний декрет к русскому народу, что вот, дескать, ты ошибся, за что и приносишь извинения, что ты думал насадить социализм и коммунизм, но что это для отсталой России «не по носу табак», так что ты приказываешь народу вернуться к старому,

буржуазно-капиталистическому строю жизни, а сам уезжаешь
отдыхать на курорт.

Просто и мило!

Ей-Богу, плюнь ты на это дело, ведь сам видишь,
что получилось: дрянь, грязь и безобразие.

Не нужно ли деньжат? Лир пять, десять могу сколотить,
вышлю.

Хочешь — приезжай ко мне, у меня отдохнешь, подлечишься,
а там мы с тобой вместе какую-нибудь другую штуковину
придумаем — поумней твоего марксизма.

Ну, прощай, брат, кланяйся там!

Поцелуй Троцкого, если не противно.

Где летом на даче?

Неужели в Кремле?

С коммунистическим приветом,

Аркадий Аверченко.

P.S. Если вздумаешь черкнуть два слова, пиши: Париж.
Елисейский Дворец, Мильерану — для Аверченко.

ЗАГОВОРЩИКИ

Феликс Эдуардович Дзержинский, по прозванию Золотое Сердце, пил у себя дома утренний чай, когда к нему явился с докладом помощник.

— Здравствуйте! Хотите чайку? Вот хлеб, масло. Садитесь. Что это у вас на руке за пятно?

— Это так себе, забрызгался.

— Да вы хоть бы перед чаем руки вымыли.

— Не суть важно. Все равно, завтра буду мыть руки — заодно и отмою.

— Ну, как дела?

— Тоска. Позавчера последнюю партию устроил, а вчера прошелся по одиночкам, по общим — хоть шаром покати. А 29-й номер такую свинью подложил, что вовек ему не забуду. Захожу, а он уже сам устроился. На подтяжках. Что прикажешь с таким народом делать?

— Неужели никого не осталось? Вам крепкого? Вот сахар.

— Говорю же вам: такая пустота кругом, что даже жуть меня взяла. Ни одной живой души.

Феликс Эдуардович засмеялся:

— Знаю я вас. Живая душа вам нужна! Долго она живой около вас удержится, как же.

— Ну все-таки. Для меня лучшее удовольствие наперед его допросить. Очень они смешные бывают.

— Неужели никого не осталось? Эко дело. Надо что-нибудь придумать, а? А ветчинки на хлеб? Хорошая ветчина. Заговоришко бы какой открыть!

— Благодарю вас, я вот этот кусочек возьму, с жирком. Заговоришко бы открыть было совсем невредно — да заговориться они перестали. Измельчал народ. Не то, что в 18-м году. Помните Каннегиссера? Вот это молодчище, с таким и поговорить приятно.

— Ну, ваши разговоры известные. Старку?

— С утра-то? Да, так насчет заговоришка. Пойти по улицам пошататься, что ли? Может, на что и напорюсь. Публика нынче дрянь пошла. Ходят и молчат, как проклятые. Тебе режим не нравится — так ты это вопи на всех перекрестках, а не молчи, как какая-нибудь дрянь. Ты будирай. Тебе свобода не за тем дана, чтобы молчать, как скотина бессловесная. Гражданин — так ты протестуй, критикуй, осуждай. Эх! Даже печень разыгралась. Прощайте.

* * *

По улице шли два гражданина, а за ними третий.

— ...И что меня больше всего разозлило, — жаловался один другому, — что последние полкотлеты я себе на ужин оставил, а он с подоконника на стол прыг, носом верхнюю тарелку сдвинул и стрескал в один момент и котлету, и две морковины.

— Вот мерзавец!

— Верите совести, я его убить хотел.

Третий, шедший сзади, приблизился к разговаривающим и вежливо спросил:

— Виноват, товарищ... Кого это вы говорите хотели убить?

— А вам какое дело?

— Некоторое есть.

— Я с незнакомыми не разговариваю.

— А вот вы оба пожалуйте за мной, так и познакомимся.

Может, даже на ты перейдем.

— Вы не имеете права!

— Виноват, я думаю, этот документик убедит вас, что я имею право на многое... Хе-хе. Так кого вы хотели убить?

— Кота я своего хотел убить. Он у меня вчера полкотлеты слопал. Обидно мне сделалось, товарищ чекист. Скотина котлеты ест, а я с голоду подыхай?...

— Виноват, я попросил бы вас не осуждать советскую власть и не орать об этом на улице.

— Я не осуждаю.

— Как же не осуждаете, когда во всеуслышание заявляете, что советская власть довела вас до голодной смерти? А вот вы, товарищ... Вы, кажется, кого-то назвали мерзавцем? Стыдитесь. Отзываться так о светлом борце за счастье пролетариата, о кристальной душе Владимира Ильича Ленина...

— Да я не о нем сказал: мерзавец. Что вы!

— Нет, раз «мерзавец» — значит о нем. Вы тоже последуете за мной.

* * *

— Вот здесь нам будет удобнее поговорить. Секретарь,

вы записывайте. Итак, признаете ли вы себя виновным, что организовывали заговор на жизнь председателя совнаркома и агитировали против продовольственной политики советской власти на почве голода?

— Что вы, товарищ, опомнитесь! Когда я злоумышлял на жизнь председателя совнаркома?

— Я ведь не глухой? Сам слышал, как вы признавались: «я его убить хотел». А вот товарищ мерзавцем назвал. Сознаетесь?

— Да в чем же нам сознав....

— Сознаешься?

— Кар-раул, убивают.

— Чего орешь! Пока тебя, дурак, никто не убивает. Ты должен раньше сообщников выдать. С кем злоумышлял на жизнь Ленина? Вспомни. А то огоньку подложу — хуже будет.

— Клянусь вам честью...

— Ну?.. Как их фамилии?

— Не жмите так горло — назову. Иванов их фамилия и Петров.

— Адреса?

— Не знаю. Я с ними на улице познакомился. Подходят и говорят: «Здравствуйте». — «Здравствуйте». — «Послушайте — давайте убьем Ленина». Ну, я конечно говорю: «Как вам не стыдно». Они сконфузились и ушли.

— Куда ушли? По какому адресу?

— Ей-Богу, не знаю. Да вы по фамилиям разыщите.

— Чудак вы человек! Как же я их по фамилиям разыщу, когда их, Ивановых и Петровых, тысяч двадцать.

— А больше я ничего не знаю.

— Да что вы говорите? Ну, а ежели насчет угольков? Как тогда ваше рассуждение? Ужели подкоптить?

— Что ж, жгите. Я ничего не знаю, хоть бы сделался совсем прокопченным.

— Как? Как вы сказали? Прокоп...?

— Прокопченный?

— Вот это нам и надо. Секретарь, пишите: Прокопович.

— Виноват, вы не поняли... я говорю...

— Да, да, мы понимаем. Итак, кто кроме Прокоповича?

— Убейте меня, ничего не знаю... На куски разрежьте, кишки вымотайте...

— Виноват, не спешите так. Значит, как говорите?... Кускова, Кишкин... Секретарь, запишите...

— Какая Кускова? Какой Кишкин, что вы? Я не то сказал.

— Ага. Проговорились, а теперь на попятный... Нет уж, голубчик... Теперь мне все ясно.

— Клянусь вам, вы не так поняли. Я говорю, хоть на куски разрежьте, кишкы вымотайте...

— Как говорите? Кускова? Кишкин? Секретарь, записывайте: «Всероссийский комитет помохи голодающим в лице Кусковой, устроившей заговор с целью умерщвления Ленина при помохи выматывания у него кишок, а также в лице Кишкина, злоумышлявшего разрезать Ленина на куски с целью сокрытия преступления Кусковой»...

Секретарь бойко писал...

* * *

Вот каким образом был открыт ужасный тайный заговор Прокоповича, Кусковой и Кишкина против главы советской власти В. И. Ленина (Ульянова)...

ПРОЛЕТАРСКОЕ ИСКУССТВО

(Лекция, прочтенная Никандром Хлаповым
на собрании Колпинской комячейки)

Дорогие товарищи и те вот, что позади семечки лускают!
Я скажу несколько слов за пролетарскую музыку.

Как я четыре года проторчал сторожем при уборной
в консерватории, то будучи назначен спецем.

И еще я скажу, что нигде нету такого буржуазного
засилья, как у музыке.

Товарищи! Почему нам, пролетариату, они всучили балалай-
ку об трех струнах, а себе позабирали рояли, где этих струнов
натянуто столько, сколько у этого рыжего, что сидит супротив
мене — и волосьев на голове нет?!

Почему?!

Да и то я вам скажу, товарищи, что с этими роялями у них
одно жульничество. Как известно, у всякой музыке есть семь
нот, так называемая гамма, а они, черти не нашего Бога,
столько там нот понаделали, что другой — шустрый-шустрый —
а еле двумя руками управляется! Да еще ногой чего-сь жмет
у низу. Где ж тут справедливость!

Да ежели одно пианино поперек распилить, так из его для
народа восемь штук узеньких можно наделать.

Нам, товарищи, этих Шубертов-Мубертов не нужно, а ты
нам давай это самое наше, настоящее, пролетарское!

Опять же черненькие, которые сквозь по роялю пересыпаны!
Нам три струны, альбо, как у гитаре, семь, а себе и черненькие,
и беленькие?

Говорят — это полутоны. А что нам с их шубу шить,
што ли? Как говорится — ни шерсти, ни молока.

Я онадысь пробовал по одним беленьким подбирать
и «Понапрасну мальчик ходишь» и «Ой, не плачь, Маруся —
ты будешь моя» — и одних беленьких совершенно предовольно!
Здорово выходит. Для чего ж черные? Только зря затумани-
вать классовое самосознание пролетариата?!

Нам-то небось балалайки липовые или с какого-нибудь

ясеню, а себе на слонячей кости чуть не сто клавишей закатывают.

Ей-Бо, право. Убьют слона и делают из его клавиши. За что? А, может, слон такой же человек, как и мы с вами?! Одно зверство и безобразие.

А возьмите ихние ноты? Нарочно там такого напутано, что на стену полезешь, разбирамши!

И все ни к чему, все ни к чему.

Почему они свои закорючки пишут на пяти линейках? Почему не на одной?! Все от пьянства.

Потому пьяному по пяти половицам легче пройти, чем по одной — вот они и шпарют свои крючки то вверх, то вниз — один смех. Прямо, как курица лапой по бумаге ходила. А ты мне на одной линейке все изобрази — вот тогда я посмотрю, какой ты музыкант!

Опять же диезы и bemоли... Он, сволочь, их семь штук с левого боку насует, а я это имей ввиду? А если я не желаю!? Вот буду жарить без bemолей — и конец!

Так этого им, видите, еще мало: бекары выдумали! «Какие такие бекары, позвольте вас спросить?» — «Это, говорит, отказ». Почему отказ? Трудящему пролетариату ни в чем отказ быть не должно.

И все-то они, черти собачьи, крутят, все вертят, как бы понепонятнее.

Видали, ребята, скрипичный ключ, что с левого боку стоит?

Этакую глисту закрутили, что ей ни начала, ни конца не видать! Нешто это ключ? Не видал я таких ключов!

А, по-моему, так — ежели уж тебе нужно какую штуковину для блезиру поставить — так зачем заковыристый ключ? Ставь простую отмычку! И понятней и легче. Правильно я говорю, товарищи? То-то и оно.

А ихние паузы! Ежели ты уж взялся играть — так играй честно, без жульничества, подряд, а нечего зря лапой по полу стучать, а то другого можно так стукнуть, что и свет замакнется.

Заканчивая свою лекцию, я могу только одно сказать: русский пролетариат уже просыпается и, когда он проснется окончательно и без остатка — он такую музыку покажет, что все эти Чайковские, Маяковские, Мечниковы и Бечниковы — у гробах переворотятся!

Бурные аплодисменты комячейки.

АГИТРОМАН

Предисловие

Как известно, в Советской России вся литература служит только для Агитпросвета, а Агитпросвет посвящает себя, почти исключительно, распространению агитлитературы.

Для этого образовались новые трудовые батальоны агитлитераторов, агитроманистов, агитнувеллистов, и все они стройными рядами маршируют в ногу к одной-единственной цели: доказать, как жилось плохо раньше и как хорошо живется теперь, какой разврат и разруха были до революции и как только теперь все приходит в настоящую норму.

Вот, например, отрывок из романа «Жизнь Великого Князя Жоржа Степаныча», напечатанного в агитжурнале «Сознательная Ячейка» и принадлежащего перу одного из признанных знатоков былой развратной жизни.

С почтением — автор (т. е. не тот автор, который написал «Жизнь», а этот, другой, который ничего не понимает в былой роскошной и развратной жизни, т. е.

Аркадий Аверченко).

* * *

Жизнь Великого Князя Жоржа Степаныча

Великий Князь Жорж Степаныч проснулся в своей роскошной, отделанной инструкциями, кровати и сладко потянулся на парчевой простыне, обшитой горностаевыми хвостами.

— Сегодня умываться не стоит, — подумал он. — Только позавчера умывался. Лучше хвачу стакан водчонки...

Схватился за ручку электрического звонка, дернул изо всей силы и завопил:

— Тимошка...

Вошел камердинер с кротким выражением лица и спросил:
— Чево надоть?

Ни слова не говоря, Великий Князь ударил его каблуком сапога в живот и приказал:

— Стакан водки. И кусок бифштекса получше... Живо, а то запорю на конюшне.

Выпил, крякнул и потом, сидя перед зеркалом, занялся руками: сделал педикюр, надушил их, обул в роскошные бриллиантовые кольца — пот и кровь трудового народа — и снова крикнул:

— Тимошка.

— Ну, что еще? — спросил Тимошка, на ходу дожевывая хвост селедки (ему даже не давали поесть, как человеку, за столом).

— Скажи извозчику, чтобы запряг мою тройку пегих, я поеду к графине Н. делать предложение ее дочке, у которой много денег.

И через полчаса Жорж Степаныч уже катил на своей знаменитой тройке. Извозчик без стеснения наезжал на шедших по улице прохожих и давил их, особый механический счетчик за его спиной отмечал количество раздавленных к великой потехе Великого Князя.

Приехали.

Отдавая пальто швейцару, Жорж Степаныч грубо заметил:

— Смотри, если пальто свистнут, — я тебя так свистну...

— Доверьтесь трудовому пролетариату, Ваше Высочество, — грустно сказал швейцар, втайне оскорбленный ужасным предложением Князя.

В будуаре князя Н. сидело много народа — все больше графья или князья с женами, одетыми в бархат, трико диагональ, в страусовые перья, и все вели обыкновенный, пустой светский разговор:

— Я была вчера на балу в Посольстве и так канканировала с немецким послом, что ног под собой не слышу.

— Да, мы вчера тоже почти всю ночь просидели на файф-о-клоке у барона Б.

— Кстати, скажите, кто сейчас любовником у его жены?

— Позавчера был еще мой племянник, а теперь право не знаю.

— Сегодня я опять на файф-о-клоке у графа Дрызгунова.

— Ну, что ж, как говорится, с паршивой собаки хоть файф-о-клок. Одолжите цигарку.

Когда Великий Князь вошел, эта пустая светская болтовня на минуту прервалась:

— Бонжур, месдамес, — сказал Князь, делая книксен. — Наше Вам с кисточкой.

— Отчего вы у меня давно не были, — спросила его на ухо баронесса, с которой он находился в интимных отношениях. — Совсем забыли меня, противный. По шее бы вашего брата за такие штуки.

— Баронесса, я вас должен огорчить: во-первых, вы мне надоели, во-вторых, я женюсь.

— Ах, — воскликнула несчастная, падая на роскошный текинский ковер.

В аристократических кругах обыкновенно в таких случаях делают вид, что ничего не замечают. Все, как ни в чем не бывало, продолжали разговор о последних лошадечьих скачках, а хозяйка дома позвала официанта и тихо сказала ему:

— Уберите. В спальню.

Едва она окончила эти распоряжения по хозяйству, как к ней подошел Жорж Степаныч и шепнул:

— Мамаша. Есть один разговорчик.

— Авек плезир, Ваше Высочество.

— Мамаша. Хотел бы жениться на вашей дочке, если позволите.

— Эва.... Спохватились.... Она уже полгода, как спуталась с младшим дворником — у матери отбила, гадина...

— Комиссия....

— А знаете, Ваше Высочество, вы на мне лучше женитесь.

— Да ведь вы замужем.

— Пустяки. Мужа отравим.

— Мысль. А у кого больше денег? — с деланным равнодушием спросил Жорж Степаныч. — У вас или у дочки?

— Конечно у меня. Восемь миллионов.

— Романовскими?

— Конечно. Не Донскими же.

— Знаем мы вас. Все вы так говорите. А женишься — либо Петлюровские всучите, или Тифлисские городские боны....

— Господа, — сказал старый граф, не подозревавший об ужасной части, ожидавшей его, — пожалуйте к столу — закусить чем Бог послал.

— Ну, зачем вы, право, тратитесь, — заметили гости, входя в столовую, — прямо к вам хоть не приходи — всегда угощаете.

Обед был роскошный, около каждого гостя стояла бутылка водки, пиво и шампанское. Хлеба не было видно — его заменяли огромные ломти кекса — все это причудливо перемешивалось с майонезом, жареными гусями и бефом Строгановым — все роскошное, все невидимо, но густо политое трудовой кровью и потом.

И сервировка сверкала и блистала. Хрустальные вазы для огурцов, фарфоровые стаканы, серебряные, позолоченные вилки и ножи, прикрепленные цепочками, чтобы не уносили

гости — все это сверкало, благоухало и все это невидимо было полито кровью и потом пролетариата — того пролетариата, который наконец-таки сверг власть отправителей и развратников — и сам, своими мозолистыми руками, строит новую, светлую, сытую жизнь.

Да здравствует Интернационал!

Переписал из «Сознательной Ячейки»

Аркадий Аверченко.

РУССКИЕ КАЛИФОРНИЙЦЫ

Темная летняя душная ночь тяжело висела над перелеском Чертова Лога, в то время, когда выехавший из Кривого Урочища дилижанс во всю мочь летел к оврагу Шайтана, влекомый четверкой сытых, хорошо накормленных, лошадей...

Дилижанс уже проехал Три Дуба, уже сделал поворот и помчался к Сосне Висельника, как вдруг за деревьями послышался какой-то шум, хриплые голоса, замелькал огонь смоляного факела, и на поляну высыпала ватага молодцов... Было их человек двенадцать, вооруженных до зубов, мрачных, решительных.

— Стой! — прогремел мощный голос. — Режь постромки!! Вяжи кучера!!

И притаился темный лес, глядя на ночное черное дело.

— Тащи пассажиров из дилижанса, — скомандовал предводитель. — Сколько их?! Четверо? Руки вверх, товарищи!

Извлеченные из дилижанса женщины плакали, стонали и вопили о помощи; мужчины держались спокойнее; один из них, солидный бородач, взгляделся при неверном свете факела в предводителя, в его помощника и вдруг всплеснул поднятыми руками.

— Боже! Что я вижу! Луначарский! Неужели вы дошли до этого?!

— Хо-хо-хо! — разразился грубым смехом Луначарский. — Не время теперь растабарывать. Говорите, чего хотите: живота или смерти?

Все путешественники, даже не сговариваясь, пожелали в один голос:

— Живота!

— Хо-хо-хо! — разнесся по лесу зловещий смех Луначарского. — Вы, я вижу, не дураки. В таком случае, вы должны исполнить то, что от вас потребуют.

— О, возьмите у нас все: деньги, бриллианты, — сказали, падая на колени, женщины, — только не убивайте нас!

Было видно, как при свете факелов глаза помощника сверкнули радостью, но Луначарский сурово отстранил его и, сделав широкий пролеткультский жест, воскликнул:

— Нет, нет! Наше дело идейное!! Никаких денег. Эй, секретарь редакции! Все пассажиры связаны?

— Да, масса.

— Сопротивляться не могут?

— Нет, масса.

— И убежать не могут?

— Нет, масса.

— В таком случае, начнем. У кого журнал?..

— У секретаря, масса.

— Это и плохо, что масса*, — сострил Луначарский, разражаясь горьким смехом. — Я предпочел бы, чтобы масса была не у секретаря, а у читателей!

И все двенадцать дюжих сотрудников тоже разразились хохотом.

— Итак, мы ваши пленники? — спросил солидный пассажир.

— Зачем такие громкие слова; вы теперь просто читатели моего журнала «Пламя». Кто из вас грамотный?

— Все грамотные, — сумрачно ответили пассажиры.

Легкая зависть промелькнула на лицах красногвардейцев.

— Ишь ты, — вздохнул один.

— Дайте вот этому крайнему журнал, — скомандовал Луначарский. Пусть — читает.

Крайний пассажир взял в руки журнал и с недоумением прочел:

— «Пламя», пролетарский журнал... Что же дальше?

— Все читай! — рявкнул Луначарский.

— «Социал-предатели. Которые соглашатели и которые корниловцы, это не те, что, скажем, авангард русской революции, который краса и гордость!...»

Это была незабываемая картина, полная дикой своеобразной красоты: на краю у оврага чернел массивный кузов дилижанса; на маленькой площадке, окруженной столетними деревьями, сгруппировалась кучка людей в самых разнообразных позах, освещенная красным светом факелов; на поваленном бурей дереве сидели в ряд четверо пленников, и один из них, близко наклонившись к журналу, дрожащим голосом читал странно звучащие в этой вековой лесной тиши строки:

* Масса — на языке африканских негров значит — господин.

«о мелкобуржуазных соглашателях», о «пролетарском искусстве» и о «саботаже интеллигенции».

* * *

На горизонте между деревьями уже показалась бледная полоска рассвета, когда пассажир кончил чтение «Пламени».

— Все он прочел? — спросил Луначарский у секретаря редакции.

— Все прочел, масса.

— Он читал «Пламя»?

— Да, масса.

— Значит, он читатель «Пламени»?

— Да, масса.

— И других, которые слушали, тоже можно считать читателями «Пламени»?

— Да, масса.

— То-то, — облегченно, полной грудью, вздохнули Луначарский и секретарь. — Пусть же эти проклятые буржуазные газеты заткнут глотки и не кричат, что «Пламени» никто не читает. Развяжите их, пусть едут...

После недолгой возни кучер и пассажиры были развязаны, постромки исправлены, и дилижанс, громыхая, снова покатился к Сосне Висельника.

— Четверо, — задумчиво прошептал Луначарский, глядя вслед дилижансу. — Да вчера сколько поймали?

— Шестерых.

— Ого! Это, значит, за два дня на сколько поднялось количество читателей?

— Вдвое. До вчерашнего дня было только десять читателей, а нынче уже вдвое!!

— Еще года два такой работы, и до тысячи читателей дотянем.

— Больше! Ежели каждый день по полдесятка ловить, то и за все три тысячи перевалит!

— Здорово! Значит, не пропадут зря народные денежки... Неужели они и теперь будут спорить, что пролетарская литература существует?..

Стояли в раздуме, опустив пролеткультиянные головы. Светало.

ПЛАНЕТАРНОЕ

Художник Костюков задумал написать картину.

— Понимаешь, — объяснял он своему другу скульптору Понюшкину. — Сюжет такой: голая, выжженная солнцем, степь... На дороге телега, в оглоблях худая лошаденка, только что павшая. Около лошаденки стоит, понурившись, крестьянин; на лице его беспроблестное отчаяние. Название: «Смерть друга».

— Хорошая штука, — одобрил Понюшкин. — Уже начал?

— За малым остановка: холста нет. Раньше, когда был Аванце, Дациаро...

— Теперь это тоже несложно: пойди просто в Центроткань и возьми сколько надо...

— Неужели так просто? Ну, пойду.

* * *

В Центроткани.

— Что нужно?

— Холста бы мне...

— Чего-о-о?

— Холста.

Служащий Центроткани удивился так, будто его просили отпустить дюжину живых крокодилов.

— Еще чего выдумаете? Зачем вам холста?

— Нужно. Картину буду писать.

— Картину? Какую картину?

— Обыкновенную. Так дадите или нет?

— А вам сколько нужно?

— Два аршина.

— Для чего вам такую уйму?

— Это два-то аршина — уйма??!

— Да вы подумайте: ведь это целых тридцать два вершка. Сто сорок сантиметров... Тысяча четыреста миллиметров...

— Значит не дадите?

— Дать-то я дам, только раньше... этого... Позвольте вашу трудовую книжку.

— Откуда ж у меня трудовая книжка, раз я художник? Служащий Центроткани сразу повеселел:

— Так бы вы сразу и сказали! Я ведь только выдаю по трудовым книжкам. Как же без книжки можно?... Не имеем права.

— А где ее достать?

— Очень просто: в Комтруде. Получите книжку, тогда в ту же минуту...

* * *

В Комтруде.

— Прошу мне выдать трудовую книжку.

— Слесарь?

— Почему именно слесарь? Я художник. Картины пишу.

— Так какой же это труд? Картины писать! Этак всякий...

— Дадите книжку или нет?

— А вы чем картины пишете?

— Красками. На масле.

— Вкусное?

— Чего?

— Масло-то?

— А черт его знает. Я не пробовал.

— Гм... Тут есть нечего, а они на масле пишут...

— Так дадите трудовую книжку?

— Я дам. Только вы раньше из Пролеткульта удостоверение принесите, что это для Советской республики полезно. И вообще...

* * *

В Пролеткульте. У Луначарского.

— Хочу получить удостоверение на взятие трудовой книжки для получения холста.

— Художник? Очень приятно. Читали мою пьесу «Возрожденный Дон-Кихот»? Нет? Гм! Странно. И «Королевского брадобрея» моего на сцене не видели?

— Нет. Так дадите удостоверение на книжку?

— Очень странно, — подумал Луначарский. — Человек не видел «Брадобрея», не читал «Возрожденного Дон-Кихота», а приходит и требует трудовую книжку. Чрезвычайно подозрительный тип... А вам для чего трудовая книжка?

- Холст получить. Для картины.
- А, это хорошо. Люблю искусство. Каков сюжет?
- Степь, телега. Около — околевшая лошадь, понуренный мужик. Называется: «Смерть друга».
- Отчего ж она околела?
- Есть было нечего.
- Так, значит, хозяин дурак. Как это так можно, животное не кормить? Вы знаете, я вам советую немного изменить сюжет.
- А именно?
- Крестьянина вы оденьте в костюм молотобойца и дайте ему в руки молот. А издохшую лошадь замените сдохшим капиталистом. Живот у него от удара молотом лопнул, и оттуда высыпается империализм.
- Позвольте! Но ведь это совсем другой сюжет?
- Ничего не другой. Только что телеги не будет. Да и кому она нужна, спрашивается?..
- Но ведь вы предполагаете внутренность фабрики, а у меня пейзаж: выжженная солнцем степь, полуразрушенная телега...
- Ах, у вас выжженная солнцем степь? Это насчет засухи? Тогда вы сначала обратитесь в продовольственную комиссию. Представьте им на рассмотрение сюжет. И если с их стороны не будет препятствий... Темочка, хе-хе, уж сильно острая. Да, кстати, там у вас будет и телега?
- Телега в ракурсе, — робко попытался оправдаться художник.
- Ну вот. Я, конечно, понимаю: ракурс! А на всякий случай вы все-таки принесите удостовереньице и из Гужевого комитета...

* * *

В Комгуже.

— Что нужно?

— Хочу получить удостоверение на неимение препятствий для изображения телеги для получения удостоверения на право выдачи трудовой книжки, дающей право на два аршина холста для изображения вышеупомянутой телеги.

— Ничего не понимаю! Вы знаете, что? Пройдите лучше в комнату № 67. Там вам сделают.

* * *

Комната № 67.

— Что нужно?

— Дайте удостоверение, что нет препятствий для изображения на картине поломанной телеги, что даст мне право на получение удостоверения для получения трудовой книжки, дающей право на холст.

— Это слишком сложно. Хотите, я вас лучше разведу.

— Как... разведете?

— С женой. У меня разводный стол. Да вы не пугайтесь. Это простая формальность. Всего две записи в книгах. Ваше имя? Отчество?

— Да я не женат.

— Так чего же вы сюда пришли? Идите в комнату № 84. Там вам сразу все сделают.

* * *

Комната № 84.

— Что случилось? Присядьте, успокойтесь... Что с вами?..

— Разрешите телегу... в ракурсе...

— Телегу?.. В качестве представителя древонасаждения я могу, ввиду взятия на учет древесных посадок, дать ордер в Центропоруб, который, снесясь с местными организациями...

— Какой Центропоруб, когда мне холст нужен?!

Древонасадитель облегченно и радостно вздохнул:

— Холст? Так это вам в Центроткань нужно. Идите, там вам все сразу устроят. Ступайте, голубчик, ступайте!..

— Выжженная степь...

— Во-во. Там в один момент.

— «Смерть друга».

— Да что вы? Какая жалость. Отчего же это он? Они это перышком: чик-чик, и готово.

* * *

Посреди улицы стоял человек и, опершись руками о трамвайный столб, выл на луну.

Кругом теснилась недоумевающая толпа. Шли разговоры.

— С чего это он?

— Холст, говорит, хочу.

— Ишь ты — холста захотел. Теперь и паршивого обрывка полотна не достанешь.

— Ишь ты, как его разобрало!

— Кого это разобрало?

— Полотно разбрали.

— Какое?

— Ясное дело *какое*, железнодорожное. Повстанцы все шалят.

— А ему-то что?

— Очевидно, поезд с рельс сошел.

— Что ж, потерял он кого во время крушения, что ли?

— Холост, говорит, я теперь. Явное дело — жену потерял.

Эй, мил-человек! Какой поезд-то? Пассажирский?

— Телегу... на полотне...

— Вона какое дело: жена ихняя, значит, на телеге по полотну ехала, а поезд враз ее — в лепешку. Отбивная котлета!

— Чево-й-то тут-коклета-говорят?

— А ты не облизывайся понапрасну... Человека поймали: котлету с лепешками ел без разрешения начальства. Рази можно?

* * *

Луна тускло светила на порыжевшем небе, как жирное пятно на грязном солдатском одеяле...

Художник выл.

ДВЕ ВЛАСТИ

(Золотопогонники и рабоче-крестьянская)

Как я счастлив, что никогда не был и не буду политиком.

Совершенно не умею заниматься этим делом. Еще более я счастлив, что Бог и природа наградили меня очень недурной способностью: посредством ряда начертанных на бумаге знаков — довольно связно излагать свои мысли...

Может быть, эти мысли — отчасти ребенка, отчасти, поэта. Но ведь всем известно, что дети и поэты чаще других говорят правду.

Кто, как не ребенок, первый заметил и громко, честно, во всеуслышанье крикнул:

— А ведь король-то голый!

Теперь, когда весь мир наполнен «голыми королями» — такие откровенные андерсеновские ребята — сущий клад для человечества.

Все взрослые люди типа Зензинова, Милюкова и Минора — все эти бородатые дяди, все Керенские, Абрамовичи, Черновы и Мартовы смотрят издали на «короля» и, поглаживая усы, тихо перешептываются друг с другом:

— Платье немногое красное, чем надо, но фасончик ничего, — во всяком случае более приемлемый, чем прежний, золотопогонный...

— Да уж эти золотопогонники, — укоризненно кивает головой Чернов. — Не дай Бог вернется!

— Господи, — кряхтит Минор, — все что угодно — пусть самая багровая, самая пурпурная мантия на короле, но только не эти золотопогонники, угнетатели народа...

Вот тут-то мне, пылкому, порывистому крошке, и хочется крикнуть им на ухо, да так пронзительно крикнуть, чтобы все вздрогнули.

— Бородатые! Усатые! Лысые! Седые! Ослепли вы, что ли? Да ведь король-то голый!

Я хоть и дитя, но бездоказательно говорить не люблю...

Для всех, кто так панически боится возвращения золотопогонников, для всех, кто измазанное кровью опухшее тело принимает за красную королевскую мантию — я приведу несколько отрывков из летописи, а что эта летопись правдива, проверьте у Милюкова — ведь он пишет объемистую историю России за последние годы. Он все знает!

1. Золотопогонная Дума и рабоче-крестьянская Учредилка

После 2-й Думы задумали золотопогонники изменить избирательный закон... Позвали умнейших, хитрейших и сказали:

— Пополам перервитесь, а сократите это дело.

Самый опытный цирюльник оказался — Крыжановский... Он так ловко подстриг, так ловко подбрил, так незаметно кое-где выпустил, кое-где обкарндал, что вся печать завыла от ужаса и негодования...

Ругали последними словами и золотопогонников, и новый закон 3-го июня, а больше всех влетело Крыжановскому. Ни один парикмахер не получил такого гонорара.

Было тогда времячко, когда хоть и с оглядкой, но могли изругать золотопогонного человека так, что от него комок мочалы оставался.

И вот засияло, наконец-таки, над Россией теплое солнышко Учредительного Собрания.

У рабоче-крестьянской власти нашелся свой Крыжановский, но более опрошенный, более, так сказать, «рабоче-крестьянский»:

— Нет такой компании, которая бы не расходилась, — сказал матрос Железняк, разгоняя Учредительное Собрание.

Это тебе, брат, не Крыжановский, который, может быть, месяца четыре бился, исписал, может быть, четыре стопы бумаги для того только, чтобы утянуть из-под носа у избранников частицу их прав и привилегий.

Новый Крыжановский ничего не писал и едва ли, вообще, изощрялся в умственных комбинациях.

Просто захотелось человеку спать, он подошел к председателю и, помахивая винтовкой, просто, прямолинейно заявил:

— А ну, вы, шпана, геть по домам! Расходитесь, что ли! Спать хотца...

И выгнал всех.

И разошлись.

Может быть, председатель Чернов для очистки совести и сказал, как говаривал, бывало, Иван Александрович Хлестаков:

«Но, но! Вы не особенно. Со мной, вообще, не советую»... Однако ушел. И все ушли. И убежали. За границу убежали.

Не знаю, как кому, но мне, прямолинейному ребенку из Андерсеновской сказки — больше нравятся золотопогонники, чем рабоче-крестьянская.

Я предпочитаю золотопогонников.

2. Дипломатия

Видали ли вы когда-нибудь фотографические снимки мирных конференций...

Такие хорошенъкие.

Все присутствующие во фраках или золотых мундирах, у всех ордена, ленты через плечо — и даже на фотографиях видно, как все вежливо, солидно разговаривают... Можно разве доспустить, чтобы какой-нибудь иностранный дипломат стукнул кулаком и заорал на Сазонова:

— Чего развалился?! Когда я говорю — прошу встать!

А мы все знаем одну мирную конференцию, на которую прибыла жирноволосая, немытая Биценко в грязной кофточке (по-моему, не бабье это дело — по конференциям шататься)...

И когда генерал Гофман стал говорить о своих полномочиях, полученных им от кайзера, а большевики в это время сидели, то вот что говорит беспристрастная летопись:

«Когда большевистские дипломаты при упоминании о кайзере остались сидеть — генерал Гофман стукнул кулаком по столу и закричал: «Прошу встать». И все большевики встали, и бедная затрапезная Биценко тоже встала».

Хорошо еще, что сердитый Гофман стукнул кулаком только по столу, а не по голове ближайшего русского дипломата...

Не знаю, как вы, а я больше предпочитаю бывших золотопогонных дипломатов.

3. Искусство

Я имел удовольствие редактировать свой «Сатирикон» и при золотопогонниках и при рабоче-крестьянской власти.

Ах, как меня жали золотопогонники...

Бывало, выругаешь генерал-губернатора или министра — штраф. Целых 500 рублей.

Нарисуешь карикатуру на Распутина — с цензурой целый день приходится торговаться, пока пропустят*.

* В «Сатириконе» за все время было напечатано три карикатуры на Распутина.

Семь потов сойдет, пока протащишь сквозь Главное Управление по делам печати эту немудрую штуку.

Как, бывало, острые политические темы — так мы торговались с цензурой, будто два маклака из-за кривой лошади. Тяжелое было время.

А рабоче-крестьянская власть оказалась проще.

Нарисовал я в своем журнале «Барабан» карикатуру на Брест-Литовский мир — хлоп! Так двинули ногой по «Барабану», что одна зияющая дыра осталась.

Кроме дыры, остался еще «Сатирикон». Нарисовали мы в «Сатириконе» карикатуру на Троцкого, который рабоче-крестьянам речь держит — так за это двинули сапогом по «Сатирикону» так, что я со своими сотрудниками два года из Петербурга бежал!

И от пустяка мы бежали — от Гороховой, 2.

Так после такого со мной обращения «рабоче-крестьянской», для меня золотопогонник приятней родного любимого дяди!

Потому, ежели что выбирать из двух, то я предпочитаю, чтобы мне на ногу наступили, чем снесли полчерепа наганом.

4. Унутренние враги

Недавно в газетах были описаны последние часы революционера Каляева, приговоренного золотопогонниками за убийство Великого Князя — к смертной казни.

Был суд. Серьезный, солидный, со свидетелями, с адвокатом — много было пышной церемонии.

Приговорили человека к смертной казни, свезли в крепость, а сами заготовили приказ о помиловании.

— Ежели, — говорят, — он попросит помилование, то мы смертную казнь отменим.

Стал адвокат умолять.

— Просите помилования! Ведь вас не заставляют отказаться от ваших убеждений, а только просите о сохранении жизни.

— Не желаю. Не хочу унижаться перед золотопогонниками, — отвечал пылкий революционер.

И умер он, бедный, во имя рабоче-крестьянской власти.

Любопытная подробность: золотопогонники почему-то не хотели допускать адвоката Жданова присутствовать при казни его подзащитного...

Сносились для этого с департаментом полиции, хитрили в министерстве внутренних дел — много было пролито поту.

И все это для того, чтобы обойти закон, допускавший присутствие адвоката на месте казни.

Неприемлемая была это публика — золотопогонники.

Рабоче-крестьянская власть совсем не похожа на них.

Вот, по словам летописца, как казнили в прошлом году в Одессе: «Вводили смертника в уборную, наклоняли ему голову над раковиной и выстрелом в затылок сносили череп... Когда мозг и кровь стекали в раковину — спускали воду и, вытащив труп из уборной — складывали во дворе в штабеля, которые ночью свозились на свалку».

Хорош был бы Жданов, присутствовавший при такой несложной церемонии.

«В занятом советскими войсками районе объявили регистрацию оставшимся офицерам, под угрозой расстрела в случае уклонения. Явилось на регистрацию около 5000 человек... Их окружили, отправили в концентрационный лагерь и в одну ночь из пулеметов всех расстреляли».

* * *

Товарищи Мартов, Чернов и Абрамович! Мы не сходимся с вами во вкусах...

Вы говорите: «Лучше большевики, чем возврат к золотопогонникам».

А я вам говорю:

— Если кто-нибудь из вас видит, действительно, на голом красном короле одежду — то он слепой глупец, если не видит ничего, кроме голого, красного, но говорит, что видит платье, — то просто мошенник.

А с мошенником детской душе не пристало общаться.

Всем же простым, не ослепленным, не искушенным золотом и не отуманенным глупостью людям, не боясь, громко, как андерсеновское дитя, скажу:

— Нам ли бояться золотопогонников... Нам ли терпеть «рабоче-крестьянскую?!»

Ну-ка, на выбор?

СВОБОДА ПЕЧАТИ

Иногда третьему молчаливо присутствовать при разговоре двух — истое наслаждение.

Я получил такое острое пикантное удовольствие в одном константинопольском ресторанчике, подойдя к знакомому бравому генералу, сидевшему с неизвестным господином — смуглым, волосатым, в желтом пенсне.

— Познакомьтесь, — предложил генерал, и усы у него дрогнули от мимолетной усмешки. — Товарищ Цапкин — советский работник, коммунист.

Товарищ Цапкин крепко пожал мою руку своей влажной пятерней и сказал:

— Присядьте.

— Если вы не шутите, генерал, — усмехнулся я, — то это, пожалуй, само редкое сочетание: русский генерал и русский большевик.

— Здесь почва нейтральная, — пожал плечами генерал.

— Да, нейтральная почва, — подтвердил коммунист. — В Константинополе все равны.

— Это не то, что в России, — уронил я, не сдержавшись.

— Да, Россия сейчас серьезная страна.

Оба: генерал и коммунист — искоса взглянули друг на друга...

Оба понимали, что будь это в России, то коммунист при малейшей возможности поставил бы генерала к стенке, а генерал в этом же случае приказал бы вздернуть коммуниста на первом высоком дереве.

А при данной обстановке оба мирно попивали красное вино и, налив мне бокал, мирно продолжали начатую раньше беседу...

— Вот вы, генерал, все говорите: всеобщее равноправие, власть народных представителей, свобода мнений, свобода мысли и печати...

— Ну и говорю, искренно верю, что так нужно...

— Чудесно. Значит, в вашей будущей России, если вы нас свалите, должна быть свобода печати?

— Обязательно.

Непередаваемое выражение лукавства появилось на лице коммуниста.

— Но ведь тогда выходит, что в будущей России и для коммунистов должна быть свобода печати?

— А вы нам ее дали?

— Ах, значит, свобода печати будет неполная? Для всех, значит, можно, одним большевикам нельзя? Очень логично. Нечего сказать...

— Не забегайте вперед, товарищ. Я сказал, что вы у себя задушили всякую мысль, всякое свободное печатное слово — я сказал это вовсе не для того, чтобы поступить также и с вами. Наоборот, в той будущей свободной России, как я ее себе представляю, *свобода печати будет полной*.

— Значит, и для нас, большевиков? — спросил просиявший коммунист.

— Ну, конечно. Раз полная свобода, значит, полная.

— Вот это благородно. Это справедливо. Значит, и в ваших белогвардейских рядах есть сознательные лица, понимающие, что мы такие же люди, как и другие.

— Ну, какие же вы люди, — задумчиво возразил генерал. — Вы — постельные клопы, напившиеся крови и марающие белье. Вас кипятком надо шпарить.

Коммунист опешил и растерялся.

— Позвольте... Как же вас понять? То вы говорите, что нас уничтожить надо, то говорите, что разрешите издание большевистских газет?

— Конечно, большевистскую газету я разрешу.

— Но ведь в газете будут сотрудники, редактор — все коммунисты.

— Коммунистов повешу. Говорю же я вам — для счастья России их нужно, как клопов, кипятком шпарить.

— Но если вы всю редакцию «кипятком ошпарите» — кто же будет выпускать газету?

— А других найдите, — беззаботно отвечал генерал.

— Значит, другим уже можно работать?

— Повешу.

— Послушайте, — вскинул коммунист. — Какая же это к черту свобода печати — газету разрешаете, а редакцию повесить хотите.

— Чудак вы человек. Когда шпарят кипятком клопов — ведь не постель же шпарят, а клопов. Сама постель здесь не при чем. Газета дело хорошее, Божье. Газету издавай,

сколько влезет. А коммуниста надо вздернуть: это дело тоже хорошее, Божье.

Коммунист вскочил, возмущенный:

— Это черт знает что такое вы говорите! Я не могу после этого сидеть с вами!

— Нет, стойте, голубчик, посидите, куда ж вы... Ведь я это только пока говорю, а вы делаете... Ну, не сердитесь. Присядьте. Давайте рассуждать, не волнуясь, спокойно. Вот вы потребовали для себя в будущей России свободу слова... Но ведь сами-то вы ее не даете? Вот вы человек неглупый, со вкусом... Скажите: видали ли вы что-либо бездарнее, скучнее, лживее и наглее советских газет. А попробуйте выпустить не коммунистическую хорошую толковую газету... Так ведь и одного номера не увидишь. И набор рассыпете и редактора к стенке поставите. Так почему же, если вы теперь обращаетесь так с талантливыми людьми, я потом не могу обратиться подобным же образом с тусклыми, вредными бездарностями. Если уж мы оба несправедливы, то справедливее и логичнее, все-таки, я. Ах да, кстати...

Генерал рассмеялся, и лицо его покрылось тысячью лучистых морщинок.

— Вот тоже по поводу свободы печати... Вы не читали телеграмму из Гельсингфорса?.. У меня и вырезочка есть. Так мне это понравилось...

Генерал вынул вырезку и прочитал:

Из Гельсингфорса сообщают, что большевистское правительство обратилось через своего посла к финляндскому правительству с просьбой разрешить издавать в Гельсингфорсе газету, подобную «Новому Пути», выходящему в Риге, или «Новому Миру», издающемуся в Берлине.

Финляндское правительство ответило, что ничего не имеет против издания в Гельсингфорсе большевистской газеты, гарантирует ей полную свободу распространения, но предлагает советскому правительству разрешить Финляндии издавать русскую газету в Москве, гарантировав ей распространение.

Советское правительство на такую взаимность не согласилось.

— Смотрите-ка, — восхищенно сказал генерал. — Такая маленькая страна, а оказалась умнее больших. И так просто: «Ах, вы хотите издавать у нас в Финляндии большевистскую газету? Пожалуйста. Только уж и мы у вас в Москве будем на свои финские средства издавать белогвардейскую газету»... «Помилуйте! Как же белогвардейскую и в Москве! Это не-

возможно!» — «Невозможно? Так и проваливай, жулье несчастное! Много вас тут, шулеров, шатается». Вот это страна. Вот это логика. А большие державы... гм... Нет, лучше в Константинополе об этом не говорить. Товарищ. Выпьем за умную логичную Финляндию!

Мы трое чокнулись.

И по нашим лицам было ясно видно, что генерал и я пили вино, а товарищ — уксус...

СМЕРТЬ МАРКСИСТА

У одного отца было три сына: старший — умный был детина, средний был и так и сяк, а младший — вовсе был марксист.

В лето 1916 года младшенький пришел к одному знаменитому петербургскому профессору, утер пот со лба да и говорит ему голосом человечьим:

— Во-первых, очень жарко, во-вторых, мне этот жестокий полицейско-бюрократический режим смертельно надоел, а в-третьих, не можете ли вы меня заморозить?

— То есть, как заморозить?

— А очень просто: при помощи анабиоза. Я ведь знаю, что вы по этим штукам ходок.

— Для чего же вам понадобилось?

— Да, знаете, режим не нравится. Я ведь сам, изволите видеть — марксист.

— Ну, что ж, — утешил профессор. — С другими еще хуже бывает. Крепитесь.

— Я и то. Да уж трудно очень. Хотел издавать марксистскую газету — не позволяют. Хотел среди рабочих пошататься, потолковать с ними о том, о сем — не позволяют. Дышать не дают. Решил на это тяжелое время заморозиться, а там, Бог даст, революция будет — вы меня отморозите обратно...

— Гм. На какой же вас срок заморозить?

— Годков на пять. Полежу, мороженный, отдохну. Над нами не каплет. А там, даст Бог, революция, свобода и тово...

— Семейный?

— Напротив. Два брата есть.

— Кто такие?

— Старший умный детина. Средний и так и сяк...

— А вы?

— Говорю же вам: марксист.

— Оно и видно. Ложитесь, что ли. Заморожу уж, что ли.

— Только потом отморозить не забудьте. Я-то знаю вас. Захлопочетесь, отвлечетесь другими делами, а я тут лежи.

— Будьте покойны, я вам такой механизм вставлю, вроде часового... Как пять лет пройдет — сразу оттаете.

— Пружина, значит?

— Во-во.

Заморозили марксиста, засунули под диван, чтобы не мешал, да и забыли о нем.

* * *

Весной 1921 года, когда пригрело солнышко, выполз из-под дивана марксист, пыльный, вялый — с видом полуодной мухи, ожившей у оконного стекла. Потер лапками, огляделся — видит, сидит в уголку профессор, страшный, старенький-старенький, растрепанный, делает губами ему «тсс» и сухим пальцем грозит.

— В чем дело, дедушка? — испуганно прошептал марксист. — Что это у вас в углу за штука?

— Мышеловка. Мышку ловлю. Только вы не шумите, а то убежит — опять я без ужина буду.

— Наверно, сумасшедший, — соболезнующе подумал добрый марксист и, чтобы перевести разговор, сказал: — А я, дедушка, оттаял.

— И дурак.

— В каком смысле?

— В анабиозном. Лежал бы себе под диваном да лежал. Как говорится — лежит, хлеба не просит.

— А кстати о хлебе... Мне сейчас здорово есть хочется. Что бы такое пожевать?

Вскочил старик — седой, страшный, белые волосы дыбом растопырились, заслонил мышеловку, да как завопит таково испуганно, таково злобно и бешено:

— Пошел вон! Пошел вон! Моя мышка! Моя!

— Спятил старишок, — качая головой, пробормотал марксист. — Вот тебе и анабиоз. Собственные мозги заморозил. Пойти домой, что ли? Как-то у нас дома... Все ли живы-здоровы?

Вышел на улицу — что за оказия? Семь часов вечера, а Невский пуст — хоть шаром покати...

Страшно стало, заорал:

— Извощик!

Дремавший шофер комиссарского автомобиля на углу — встрепенулся и сказал:

— Ори, ори. Вот я тебя в Чеку отправлю — покричишь там.

— В какую Чеку?

— Какие бывают. Красненькие. В пробочную комнатку посадят — вот и зови извозчика.

— Может быть, вы меня отвезете домой, добрый господин?

— Ну, что ж... Можно. А наркому скажу, что в Главбенз за бензином ездил. Сколько дадите?

— Да рублей пять, что ли?

— Чево-о-о?

— Пять рублишек. Разве мало?

Молча шофер откинул дверцу, не торопясь вылез из автомобиля, молча дар марксисту увесистую плюху и, не торопясь, вернулся на место.

— За что?

— Не смейся, сволочь. Я думал, ты тысяч десять предложишь, а он — накось! Еще если бы золотой пятерик....

— А разве не все равно?

Молча, откинулся шофер дверцу, вылез, приблизился, дал полновесную затрещину, снова вернулся.

— Господи! А теперь за что?

— А не смейся.

Ничего не понял бедный марксист. Вздохнул и поплелся домой пешком.

* * *

— Гаврила! Здорово, голубчик!

— Барин!.. Да где же это вы пять лет пропадали?.. Вот уж и видеть вас не чаял!

— Братья дома?

— Где там! Старшенького на мушку взяли, израсходовали, а средний в Бизерте живут.

— Что это за Бизерта?

— Бог-е знает. Не то в Африке, не то где...

— Гм... А квартира цела?

— Реквизирована. Замкомпоморде.

— По морде? Замком? Кого.. За что?

— То есть видите... Это их так... Сократительно. Заместитель комиссара по морским делам.

Потер лоб марксист.

— Как мне все странно представляется. Может, не совсем еще оттаял? Гаврила, голубчик... Дай мне поесть чего-нибудь.

— Где же я вам возьму, барин.

— Чудак. Я ведь не прошу тебя котлет де валяй или судак обернуар. Дай мне просто хлеба, молока. Яичницу зажарь...

Дворник вдруг освирепел:

— Я тебе так зажарю, что три дня вертеться будешь! Вам бы всё хиханьки.

Заплакал марксист.

— Не кричи на меня, Гаврилушка. Я был пять лет замерзнутый и теперь ничего не понимаю. Ну, дай мне кусочек хлебца, Гаврилушка...

— Да где же я его возьму, головушка моя горькая!

— А ты в лавочке купи, Гаврильчик. Вот тебе рублишка. Хлебца купи, колбаски...

Плюнул Гаврила, повернулся, ушел в сторонку.

— Куда ж мне теперь идти? — тоскливо подумал марксист. — Главное, что я ничего не понимаю. Пойду домой, а там замкомпоморде. Пойду к профессору, а он мышь ловит. На улицу пойду — шофер колотит.

Присел на ступенечках собственного дома, поплакал.

Высморкался в платочек, побрел.

Опять Невский. Пустынно, жутко... Трах. Чуть не провалился — яма посредине Невского. Тсс... Кто-то идет. Прижался в какую-то впадину около Пассажа, пропустил. Двое прошли: в балахонах, с нагайками: не то киргизы, не то китайцы — и говорят не по-нашему, а форма будто военная.

И так страшно сделалось марксисту, что не вытерпел он.

И раздался по всему Невскому исконный российский крик, тот крик, который испускают испуганные граждане, подобно ребенку, при всякой опасности кричащему: «мама».

— Гор-родовой!!!

Подошел какой-то с красной повязкой. Взял за руку:

— Так-так. Городового уже на Невском кличете. Пожалуйте в Чека.

* * *

— Вы кто?

— Такой-то.

— Ваше удостоверение.

— Вот паспорт.

— Этого мало. Где трудовая книжка?

— Я вас не понимаю.

— А я вас очень хорошо понимаю. У вас паек какой категории?

— Я вас не понимаю.

— А я вас понимаю замечательно. Социал-соглашатель!

Саботажник!

— Никак нет. Православный.

— Может, вы сумасшедший?

— Никак нет. Я пять лет в анабиозе был. Замороженный.

Нынче только из-под дивана вылез.

— Что ж мне с вами делать? Конечно, я вам верю.

Анабиоз там, наука, прочее. Но поймите, что вы нам не подходите. Вы как шило из мешка выпираете. У нас уже все обтерлись, мы их постепенно приучили, а вас одного приучивать, это — атанде-с. Товарищ Гнусис. Выведите его в расход.

— То есть на улицу?... — обрадовался марксист.

— Гм... Да... Там видно будет, — устало промямлил комиссар.

Вышли.

— Куда вы меня? — доверчиво спросил марксист.

— К стеночке, голубчик.

— Ну спасибо. Мне бы прислониться. А то устал я — смерть как.

Глаза его слипались. Прислонился к стенке и пробормотал:

— Убейте меня, если я что-нибудь, вообще, понимаю. Так и сделали.

ВЗРЫВ ВОЗМУЩЕНИЯ

Очень многие эмигрантские газеты твердят изо дня в день:
— «Россия может освободиться от большевиков только взрывом возмущения изнутри»...

Разрешите это возмущение изобразить в красках:

I. Взрыв возмущения в городе

- Отворяй ч-черт!
- Отворяю. Пожалуйте. Что прикажете?
- Обыск будем делать, так как ты есть саботажник и тайный агент Антанты.
- Антанта? Это чего будет?
- А черт его знает. Сахар, мука есть?
- Вот тут немножко... Дня на три. Все заберете?
- Все. Не был бы шкурником, не забрали бы.
- Я, конечно, товарищи, понимаю, что я шкурник... Но если бы вы были любезны объяснить мне значение этого слова.
- А черт его знает, что оно обозначает. Это мучица? Давай и мучицу.
- Вам бы в мешочек удобнее. Вот-с. Холстинный. Крепкий.
- Золото, бриллианты имеешь?
- Немножко. Дать?
- Гони! Да ты, черт, хотя бы мандат на право обыска спросил, что ли! По правилам. Нельзя же так!
- А не все ли мне равно — по мандату забираете или просто. Больше ничего не потребуется?
- Сапоги есть?
- Сейчас сниму.
- Тэк-с. А теперь мы тебя должны арестовать.
- Ну, что ж, арестуйте. В тюрьму сначала или прямо к стенке?
- Это, брат, тебя не касается.

— Виноват, я только в том смысле, что если в тюрьму — я бы одеяльце и подушку прихватил.

— А ты прихватывай. Это никогда не лишнее. Ты уж и мешок с продуктом донеси.

— Отчего не донести. Донести можно. От одного пудика плечо не отвалится.

* * *

— Ну, вот тут можно и остановиться. Рой яму!

— Слушаю-с. Для одной персоны?

— Экой дьявол какой! Да ты хоть бы выругался для порядку. Палачами назвал, что ли.

— Да ведь прикладами тогда бить будете.

— Это ты верно. За это не спустим.

— Ну вот, видите. Зачем же мне... Готова ямка. В самый раз может будет. Где мне стать?

— Да у ямы же и становись, чудак-человек.

— Только слушайте. Ведь я когда свалюсь, то сам уже не смогу яму засыпать. Как же быть-то?

— Ничего, мил-человек, не беспокойся. Сами для тебя потрудимся, закопаем. Гм... Может, распоряжение какое желаешь дать?

— Есть мне очень хочется.

— Ну, это уже теперь не стоит.

— Положим, и верно. Ну, мне становиться, что ли...

II. Взрыв возмущения в деревне

— Здорово, братцы! Ну, как живете?

— Да и плохо живем, барин.

— Что ж так?

— Брюхо с голоду подвело.

— Вот чудаки народы. А вы бы хлеб ели — вот бы брюхо и не подвело.

— Да где ж его взять, хлеб-то.

— Сеять надо.

— Где ж его сеять, ежели скота нет.

— Куда же вы его подевали? Неужели, на котлеты стравили?

— Где уж нам котлеты. Коммуна для красной армии позабирала.

— А вы бы не давали.

— Не дашь! У него, чай, ружжо есть!

— Гм... да. Чего же вы с прошлого года хлеб не спрятали?

— Прятали. Да какое там! Взяли для красной армии. Ружжо у его есть.

— «Ружжо, ружжо»... А вы все-таки бороться должны были. Каждое село, каждая волость выставили бы всех молодых парней...

— Эка хватились. Да все ж наши парни у красной у армии. Позабраты.

— Ловко. Это, выходит, у вас же молодежь позабирали, у вас же лошадей для нее реквизировали, на ваших же лошадей ее посадили, вашим же хлебом накормили, да против вас же и выставили!

— Выходит, что так.

— Что ж вы теперь делать думаете?

— А помирать думаем.

— Виноват, это как же так?

— А вот так же. Видите, лежу?

— Ну лежишь. Я думал, отдыхаешь.

— Один такой отдохнул. Седьмой день не емши. Вот так полежу, полежу, а потом помру.

— Эх, ежова голова. Да ты, чем так терпеть от этой проклятой коммуны — взял, да и восстал бы.

— Восстанешь тут. Может, приподымешь да придержишь — вот и будет все мое восстание. Нет, уж чего там, помирать надо.

А в это время — «идет, гудет зеленый шум» половины эмигрантской прессы:

— Никаких интервенций. Россия сбросит большевизм только могучим взрывом возмущения изнутри.

МОЯ СИМПАТИЯ И СОЧУВСТВИЕ ЛЕНИНУ

Сочувствует — Аркадий Аверченко

Я очень добрый человек.

Например: у меня нет ни злобы, ни ненависти к Ленину, Ульянову-то же.

Мне только очень его жалко.

Чем дальше, тем больше я над ним, над его жизнью задумываюсь, и чем дальше, тем больше мне его жалко.

По-моему, всякий человек имеет право на личный уют в жизни (я, например, люблю уют больше всего на свете) — а у Ленина нет этого уюта.

И уюта в жизни его нет, и общественное положение его какое-то странное. В самом деле, ну что это за положение такое «председатель советской республики». Наверное, ему от этого скучно, и для самолюбия нет никакого удовлетворения.

Я еще понимаю — быть царем — это уже что-то! Я бы сам, признаться, не отказался от этой должности, и думаю, что царь из меня вышел бы неплохой.

Что такое нужно от царя? Здравый смысл и любовь к родине. Я звезд с неба не хватаю, но здравый смысл у меня есть и любовь к родине такая, что я, может быть, часто по ночам плачу, да никто этого не знает.

Ну, так вот — царь — должность определенная — и писатель — должность определенная — знай себе платит штраф за газеты, и генерал — должность определенная — знай себе газеты продает на Невском, и князь — должность определенная — знай себе старые вещи продает.

А председатель Советской республики — это неуютно. В этом нет уклада. Нет привычного.

Мне очень интересно знать — как вообще живет Ленин: что он ест, и много ли, и с удовольствием ли, что читает, когда ложится спать и смеется ли?

Я думаю, что не смеется. И ему самому скучно жить, и тем, кто около него, тоже скучно живется.

Я думаю, что Ленин очень сухой человек, и если даже он прочтет эти строки, то не поймет, что я жалею его по человечеству, как брат брата, а, я думаю, немного растеряется, пожмет плечами и скажет сухим без интонации голосом:

— Какой странный этот Аверченко! Читаешь, читаешь и совершенно не понимаешь — какая-такая его партийная платформа?

А я безо всякой платформы, ей-Богу... Ну вот, как бы два человека встретились в лесу, и один увидел, что другой спит на корявых сучьях, которые впиваются ему в бока. Ну, вот этот первый и пожалел второго, по человечеству, беспартийно и совершенно внефракционно.

Слушайте, гражданин Ленин — неужели вы мне никогда не позавидуете? Вы знаете, например, как я провел вчерашний день? Рассказать? Расскажу.

Встал утром рано — утро хорошее, теплое, солнечное. Думал: вчера работал и позавчера работал — никто меня не заставит сегодня работать! Поболтаюсь нынче по белому свету так просто, безо всякой работы.

Умылся холодной водой, фыркая, как молодая лошадка. Чай выпил с белой лепешкой, которую тайком ужилил у петроградской коммуны. Прочел две газеты — левую и правую. В обеих разделяли советскую власть на обе корки — прямо неприятно было читать. Вышел на улицу — сколько света, сколько тепла, сколько солнца! Что значит — ненормированный продукт!

Купил у торговки букетик весенних фиалок. Нюхал. Разглядывал на дороге встречных девушек и дам. Вы знаете, господин Ленин, — прехорошенькие встречаются. Жаль, что вы никогда так на них не смотрите, без платформы. И я ведь не о каких-нибудь дурных мыслях говорю, а просто приятно посмотреть на свеженькое лицо и стройную ногу, лихо обтянутую черным ажуром чулка.

Разглядывал также открытки в витринах. Оч-чень недурные попадаются. Нынче стали хорошо их печатать — все мазки переданы в точности. Фотографии разглядывал. Заинтересовался и кинематографическим плакатом. Картина называется «Человек, который убил». Играет актриса Лещинская. Красивая. Надо пойти, посмотреть, что это за картина такая.

Завернулся на Морскую. У Буша выставлен эстамп: лев, огромный, с царственной гривой. Этому слово «председатель» никак не подходит — именно царь. Породистый, каналъя. И вдруг потянуло меня в Зоологический сад — безмерно я люблю всяческое дикое зверье.

А кто мне указ? Набрал побольше теплого воздуха в легкие и бодро зашагал в зоологический сад — как птица, я свободен в пределах петроградской коммуны.

Обедал я в кавказском ресторанчике. Прихватил приятеля — ели шашлыки, осетрину на вертеле, и мошенник кавказец дал даже недурное винцо. Дорого только очень, ну да ничего — этим фельетоном покрою.

Кстати, господин Ленин — частный вопрос: почему бы вам не разрешить свободной продажи вина? Ведь все равно, кто хочет, пьют, и плохо только то, что переплачивают громадные деньги. Я так полагаю, что и дороговизна вся оттого, что всем нужно много на вино заработать. Возьмите вы пьющего ремесленника. Раньше он зарабатывал пять рублей в день, и довольно, потому что полбутылки водки стоило 23 копейки. А теперь он грабит заказчика ста рублями, потому что бутылка спирту стоит 200 рублей... И хлеб будет у ремесленника, потому что хлебный мужичонка дерет 10 рублей за фунт муки по той же причине — на водку сотни уходят.

Право, уже можно бы разрешить вино — такое мое компетентное мнение.

Да и вообще, я бы пошел к вам в Советчики — только ведь вы меня не будете слушать. Не стонится мне на партийной платформе — хоть кол на голове теши.

Однако, вернемся к нашим баранам, как тонко выражались наши бывшие союзники.

После обеда отправились мы с приятелем в оперетку — очень мило играли, да и музыка приятная, легкая и пьянящая, как шампанское.

Вернулся домой пешком — такая приятная белая ночь — слегка поужинал ужиненной у коммуны телятиной и сыром, запил добной бутылкой контрабандного пива и лег в постель.

Вы думаете, удовольствия этого привольного дня кончились? Как бы не так!

Предстояло самое главное — лежит у меня на ночной столике томик «Замогильных записок Пиквикского клуба» — вот это, доложу вам, удовольствие! Нет ему равного в природе. В комнате тихо (нынче что-то мало стреляют), мирно горит покрытая голубым колпачком лампа над головой. Доносится легкий запах свежей сирени. Букет стоит на туалете — прислала какая-то скромная поклонница моего скромного таланта. Спасибо ей, спасибо Диккенсу, спасибо рабочим электрической станции, дай им Бог доброго здоровья за то, что они освещают мне страницы Диккенса. Если когда-нибудь будет концерт в пользу электрических рабочих — обязательно выступлю в нем...

Как раз на этой мысли книга заботливо вываливается

из ослабленных рук, я поворачиваюсь на другой бок и... желаю и вам, господин Ленин, искренно от души такой же спокойной ночи.

Ну вот: разве плохо прожил я этот беззаботный денек? А вы? Как вы проводите ваши дни. Наверное, сплошная толчая и беспокойство. Все эти прямые провода, доклады, соведепы, бестолочь и неурядица. С утра — ни газету толком не прочесть, ни чаю, как следует, выпить. С утра, наверное, уже какой-нибудь Свердлов или Прошьян являются со скучными претензиями, заявлениями и разными центропрокомами. А там звонят, что в пригороде голодный бунт, а тут Мирбах через Чичерина подносит какую-нибудь обсахаренную гадость.

Ни к зверям не успеете пойти, ни Диккенса почитать. До Диккенса ли, когда красноармейцы требуют прибавки жалованья и пайка, когда рабочие требуют Учредительного Собрания, а тут Скоропадский, а тут корниловцы, а тут немцы.

До открыток ли в витринах, до женских ли ножек в ажурных чулках, когда один флот загнан в Неву, другой в Новороссийск, а матросы при этом никого знать не хотят и требуют реставрации Дыбенки или еще чего, на что потянуло прихотливую матросскую душу.

Брат мой Ленин! Зачем вам это? Ведь все равно все идет вкривь и вкось и все недовольны.

Почему мы, простые граждане, имеем право на личную жизнь, а вы не имеете права на личную жизнь?

Да черт с ним, с этим социализмом, которого никто не хочет, от которого все отворачиваются, как ребята от ложки касторового масла.

Сбросьте с себя все эти скучные сухие обязанности, предоставьте их профессионалам, а сами сделайтесь таким же свободным вольным человеком, такой же беззаботной птицей, как я... Будем вместе гулять по теплым улицам, разглядывать свежие женские личики, любоваться львами, медведями, есть шашлыки в кавказских погребках и читать великого мудрого Диккенса — этого доброго обывателя с улыбкой Бога на устах.

Не примите моего предложения как обиду: а исключительно доброта сердца и сердечная симпатия водила рукой автора этого произведения —

Аркадия Тимофеевича Аверченко

САЛАТ ИЗ БУЛАВОК

I. Отцы города

Они были такими маленькими, такими смешными со своими куцыми интересишками, с бурями в стакане воды, с асигнованиями на починку пожарной кишкы — они были такими маленькими, курьезными, эти тысячи «отцов города» в сотнях тихих зеленых городков — но, вместе с тем, они кажутся мне бесконечно трогательными, и я теперь вспоминаю о них, как о покойной любимой хлопотунье-тетке, метавшейся от курятника в кладовую, от погреба на кухню — где ворчали и пузырились вкусные жареные пирожки...

У отцов города бывали и свои «большие парламентские дни».

Вдруг неугомонный гласный внесет ошеломляющий вопрос о том, что:

— Почему-де из-под ворот портомойни Колбасикова спускается на улицу целая река грязной воды, мешающая прохожим и заражающая воздух зловонием, что вредит благоустройству и благолепию города? Что смотрит дума??!

И загорелся бум и шум чрезвычайный: прения, голосования, мотивировки, выход в двери, объяснения заинтересованных лиц и веское резюме председателя.

А на другой день местная крохотная газетка пишет с миной заправского «Таймса»:

— «Вчера у нас был большой парламентский день. «Была игра», как выражался покойный Расплюев».

Куда ушло ты, все это?

Кое-что от этого тихого муниципального быта осталось и теперь, даже, пожалуй, формы остались те же, но содержание несколько изменилось...

Вот бесстрастный отчет об одном муниципальном заседании в Одессе, руководимой и опекаемой последователями великого Карла Маркса.

«Председатель Одесской чр. комиссии, Дейч, на запрос меньшевика Шатана о том, как можно так безудержано расстрели-

вать, чтобы кровь по обочинам мостовой сочилась от здания ЧК по Скobelевской улице до Преображенской — ответил: «Пусть знает тов. Шатан, что из мертвых людей, расстрелянных в голову, сочится кровь; пусть знает он, что мы не маринуем мерзавцев, а вывозим их на грузовиках, и не наша вина, что, благодаря блокаде империалистов, мы лишены возможности иметь хороший брезент, в который мы могли бы заворачивать убитую падаль».

Такое заявление встречается бурными рукоплесканиями всего собрания, а назавтра публикуется в местных «Известиях» для общего сведения...

Не знаю, как кому, но мне во всей этой истории больше всего нравится меньшевик Шатан, этакий хлопотун:

— Я, конечно, против расстрелов особенно не спорю, но нехорошо только, что кровь течет по обочинам тротуаров; и не гигиенично, и нарушается градское благолепие. Я, конечно, не против коммунистической промышленности, но неудобно, чтобы отработанные материалы вытекали прямо на улицу...

Смотрю я, смотрю на меньшевиков и думаю: кто они такие?

Те же большевики, но более бездарные, более худосочные. Меньшевик отличается от большевика тем же, чем каплун — от боевого петуха.

II. Честный делец

Бывают и такие.

Взял он у приятеля для оборота тысчонку рублей, открыл свое дельце, стал торговать.

Узнали об этом другие, говорят:

— Ишь ты, на чужие деньги, как заворачивает! Ты бы лучше вернул приятелю долг.

А он, бедняга, молчит, терпит эти попреки, потому как все деньги пока в обороте, и никак нельзя еще вынуть их из дела, для возврата.

— Эй, послушай! Ведь ты, выходит, форменное жулье. Деньжата-то ведь чужие. Неужто, замошенничал?!

Молчит бедняга, только страдальчески головой качает, а сам в это время денно-нощно работает, все — дело разворачивает.

Ширится дело, растет, крепнет.

— Да уж теперь всем ясно, что простой ты жулик, плут и архи-мошенник! Тебя бы в яму, подлеца этакого, засадить!

И вдруг однажды приходит этот всеми обруганный к уже махнувшему на деньжата рукой тароватому другу — и говорит ему, — от всех униженный и опозоренный:

— Там я у тебя тысячу рублей для оборота брал. Так вот — возвращаю две! С процентами.

И сразу все тогда видят, что человек-то был честный, кристаллической чистоты.

Взял Ленин у Людендорфа для оборота 70 миллионов — все так и накинулись на беднягу:

— Жулик ты и больше ничего! На чужие, на немецкие деньги работаешь! Надо иметь свои — тогда и начинай дело.

Его ругают, а он расширяет, его Бурцев обвиняет, а он разворачивает и разворачивает дело, совершенствует его, ночей не спит — работает...

И вот, когда дело окрепло, когда оборотный и балластный капитал вырос до того, что не страшно из него вынуть и всю взятую у Людендорфа сумму — стал Ленин возвращать: послал в Германию тысячу агитаторов, а каждому агитатору по 50 тысяч марок, организовал во всех немецких городах сто чрезвычаек, а каждой чрезвычайке по 500 тысяч; основал десять большевистских газет, а каждой газете по миллиону.

И тут все увидели, что купец-то — честный человек, до копеечки возвращает свой долг, и не только до копеечки, а еще с процентами.

А говорили — мошенник.

Такие подлые времена настали, что готовы оклеветать все чистое, все светлое, все честное.

И теперь пусть не говорят:

— «Аккуратен, как немец».

А:

— «Аккуратен, как Ленин».

Ен достанет. Ен вернет!

III. По-горбуновски

— Здравствуйте, ваше сиятельство, господин министр!

— Здорово, братцы. А в чем дело?

— Мы как насчет этого самого... Насчет интервенции.

— Ну?

— Стало быть, интервенция. Вооруженное вмешательство иностранных сил. Кхе...

— Я понимаю. Да вы-то чего хотите?

— Так что заявить пришли.

— О чем?

— Что мы этого... энергично протестуем против интервенции.

— Да никто не собирается делать интервенции!

— То-то мы и говорим.

- Чего говорите?
- А, вообще, вот насчет этого. Чтобы не было.
- Да если я говорю вам, что ничего никто не собирается, так чего ж вы пришли?
- Стало быть, что русский народ сам этого... Открепнет и тово... Сам по себе.
- Ну?
- Как мы вас уважаем, так пришли сказать.
- Что сказать?
- Опять же насчет интервенции.
- Фу-ты, какой тяжелый народ. Вы кто, собственно?
- Милюков Павел, Керенский Александр, да Зензинов, да Авксентьев.
- Ну, и слава Богу.
- Так что вот, значит, пришли сказать.
- Чего?
- Заявление, стало быть, примите.
- Гастон, проводи их.
- Так что мы, ваш сиясь, можем быть спокойны насчет этого самого? Очень уж обсказать хотелось. Можем итить?
- Ступайте, ступайте.
- С благоговейными лицами, стуча сапогами выходят в переднюю.

ИНТЕРВЕНЦИЯ

Если вглядеться внимательно, так даже обидно делается: сколько хорошей, чистой, благородной публики побеспокоили из-за дюжины карманников...

Карманники своим жульничеством довели Россию до голода, и теперь из-за этого приходится беспокоиться и тратить время на заседания и разговоры высокопоставленным английским лордам, итальянским маркизам, французским графам и японским самураям.

Мое им глубокое сочувствие.

И с кем только приходится якшаться сливкам европейской общественности и политики — из-за человеколюбивого желания не дать нескольким миллионам русских умереть голодной смертью.

Мошенники из своей чертовой дюжины выбрали самого хитрого и бойкого на язык мошенника — Литвинова — и послали.

— Поезжай ты с ними разговаривать. Может, и встрешь очки.

Взял мошенник кожаный чемодан, миллиард денег на извозчиков и поехал для оптического обмана — втирать очки.

* * *

Как это делается, какие разговоры ведутся между мошенниками, доведшими Россию до голодной смерти — с одной стороны, и группой иностранных представителей, желающих накормить голодных — с другой стороны, все это хорошо известно из газет.

Делается так-то и так-то.

* * *

А мне бы хотелось, чтобы делалось так-то и так-то.

А именно вот как:

* * *

За деловым столом сидят представители европейских государств и несколько советских мошенников. Главный мошенник Литвинов старается вести очень тонкую линию...

— Мы хотели бы, — говорит маркиз делла Торетто, — чтобы иметь контроль над распределением посылаемых продуктов.

Литвинов прищуривается:

— Чивой-то?

— Говорю: контроль хотим иметь.

— Это можно. Хотеть-то. Всякий человек может хотеть, чего ему вскочит в голову... Только контроля мы не допустим.

— Но ведь согласитесь сами, — вступает в разговор знатный лорд, — что при отсутствии контроля и слабой связи власти центра с местами возможны эксцессы...

— Чивой-то?

— Эксцессы возможны... Для этого мы и хотим ввести принцип нормального контроля...

— Послушайте, любезнейший, — не выдерживает и вступает в разговор благородный французский граф. — Вы же сами понимаете, что положение России до того безвыходно, что спорить о такой детали, как контроль...

— Это где же положение безвыходно? — искренно удивился Литвинов! — Это в России-то?! Да что вы, помилуйте! Правда, в нескольких местах маленькая засуха, небольшой недород, зато в других — амбары ломятся...

— Так чего же вы завопили о голоде? — нетерпеливо перебивает японец.

— Транспорту нет. Потому и получается, что в одном месте амбары ломятся, в другом мужички мрут.

— Отсутствие транспорта — это следствие вашей же системы коммунистического ведения хозяйства.

— Чивой-то?

— Твой-то! А почему эпидемии развели?

— А кто ее там разводил? Бактерия, она махонькая, нешто ее поймаешь, как вошь, альбо блоху. А только эпидемии есть, это вы точно выразились. Одначе, если вы нам не поможете, то наши эпидемические мужички подойдут к самым к вашим границам и нанесут вам такого, что в три года не вылечитесь.

— Мы этого и хотим избежать.

— Избегайте, избегайте, это хорошо. Мы понимаем-с! Перво-на-перво медикаментов нам посытайте, потом хлеба,

ну, там, конечно, семян, как полагается, сельскохозяйственных орудий...

— Мы это все с удовольствием пошлем, но при условии, чтобы жертвователи знали, что их дар пойдет голодающим, а не на поддержку режима насилия и угнетения.

— Чивой-то?

— Да что вы, оглохли, что ли, — начал раздражаться пылкий итальянец маркиз делла Торетто. — Контроль нужен. Иначе не дадим.

Литвинов встал и заложил руки в карманы брюк.

— Послушайте, товарищ. Вы эти контроли-мантロли бросьте. Нам это дело не подходит. Раз мы высокая договаривающаяся сторона, так нам должны доверять, а не доверите — вам же хуже. Мы вам такую эпидемию по Европе разведем, что...

Темпераментный сербский представитель тоже вскочил и, стукнув кулаком по столу, вскричал:

— Высокородные господа! Тот дипломатический, полный достоинств язык, которым мы разговариваем с... этими, вот... очевидно им не понятен.

— А какой же язык они поймут?

— А вот какой!

Серб ловко размахнулся, и Литвинов полетел в угол вместе со столом.

— Живио, Россия! Лорд, дайте бокса тому рыжему скоту, что возле вас сидит. Фукушима! Не зевайте, сделайте тому джентльмену с каторжным лицом джиу-джитсу!... Вали их, бей, круши!

* * *

Литвинов стоял на коленках перед делла Торетто и, размахивая кулаками по лицу грязь, горько плакал:

— Дяденьки! За что же ж сразу уж и драться?!. Ведь он мне переносье кулаком вглубь вдавил, а я ж дипломат, ей-Богу, вот сейчас и мандат покажу. Ваше высокоблагородие, господин маркиз! Ведь этак человека убить можно... Ведь я с ним в порядке дискуссии, а он — р-раз! да такое кровообращение устроил. Ваша высокоблагородная светлость, господин финансов! Ведь мы же разве против контроля? Ни Боже мой! Контроль вам нужен — пожалуйста. Войска для охраны продовольствия введете — пожалуйста. Раз нужно — так нужно, я понимаю. Я только против того, что представителя высокой договаривающей стороны с обеих сторон хлещут без всякого контроля. А касательно голоду я так и отпишу своим: после продолжительных и оживленных прений я принужден

был согласиться на предъявленное лигой помощи голодающим предложение о введении международного контроля над распределением продуктов. Большинство голосов постановило...

Маркиз засмеялся:

— Пишите: большинство кулаков!

* * *

Высокородные сэры, синьоры, мусью и самураи. Выше я указал единственный способ договориться с советской властью, но увы... я знаю, что вы слишком воспитаны, слишком джентльмены, чтобы... тово.

А жаль!

Другого способа помочь голодающей России нет, — в том клянется вам честью один из проницательнейших психологов России.

АМЕРИКАНЦЫ

Когда я был совсем крохотным мальчуганом — все мои стороны характера ярко указывали на то, что я, вообще, был малый не промах.

Хотя бы взять самую замечательную мою авантюру того периода: я убежал в Америку.

Правда, тысячи русских мальчишек ежегодно убегали в Америку, но я тогда не знал, что у меня так много единомышленников, и в своем предприятии был совершенно одинок.

Всякий, кто в свое время был мальчишкой, прекрасно знает, как велика тяга мальчишки в Америку, а если кто этого не знает — значит в нем текла кровь не храброго мальчишки, а трусливой девчонки.

Как сейчас помню подробности моей жуткой, отважной экспедиции: в полночь я встал с кровати и, хотя моя комната находилась в первом этаже, решил бежать через окно, спустившись на разорванной и свитой в веревку простыне, — как все знаменитые преступники, — хотя прекрасно мог бы просто выпрыгнуть из окна на улицу.

Вооружения, амуниции и провианта у меня было предостаточно: в узелке лежал столовый нож, рогатка, карта Америки, выдранная из атласа Ильина, три сухаря, два пирожка с говядиной, полуzasохших, полураздавленных — результат двухдневного таскания их в кармане штанов, потом спиртовая машинка, на которой старшая сестра завивала волосы, и нитка огромных ярко-голубых дутых бус.

Черт его знает, зачем я захватил эти чудовищные бусы, но они были такие хорошенъкие, что не хватило сил их оставить, а кроме того, наследственный коммерческий инстинкт подсказал мне, что эти бусы могут очень пригодиться при товарообмене с индейцами.

Для того же был захвачен и кусок красного кумача,

бесцеремонно отодранный от трехцветного флага, коими украшались все дома в городке в царские дни.

Спустившись по простыне, я закинул узелок за спину и бодро зашагал к новой таинственной жизни, но через двести шагов остановился, уселся на скамейку под акациями и открыл крайне важное совещание с самим собой...

Куда меня понесет ночью? Все спят и, конечно, спят и матросы той шхуны, на которую я думал пробраться тайком, спрятаться в трюм и, таким образом, комфортабельно отплыть по назначению.

Нет, не попасть мне ночью на шхуну: все спят, сходни на пристани, наверное, сняты, а добираться вплавь мокро.

— Подожду рассвета, — рассудительно решил я. — Утром на пристани начнется суматоха, и я успею незаметно пробраться в трюм. А когда шхуна выйдет в открытое море — выползу из своего убежища и поступлю в юнги. Если же капитан откажет — взбунтую матросов, захвачу власть, — дело известное.

И вдруг, в самый разгар моего самосовещания — надо мной, как гром среди ясного неба, раздался знакомый голос:

— Это еще что такое. С какой это ты радости в глухую полночь торчишь тут... Что у тебя за узел...

Отец мой был не меньшим пройдохой, чем я: сразу же раскусил все мои авантюристические планы. Покрутил головой и деловито осведомился:

— В Америку?

— Да... этого... Я ненадолго. Я скоро вернусь.

— Чем же тебе здесь плохо?

— Скучно. Пантер нету, индейцев нету, ничего нету.

— Н-да, брат. Этим товаром не торгуем. Так, значит, в Америку.

— В Америку.

— Как же думаешь добраться?

— Юнгой поступлю. На шхуну.

— Еще чего. По росту тебя и в корабельные крысы не примут. Ты можешь, не нагибаясь, почесать нос о мое колено.

Собственно, было скорей наоборот. Не я был мал, а отец невероятно высок. По образному выражению одного моего знакомого, он был так высок, что для того, чтобы высыпаться ему приходилось становиться на колени.

— А зачем у сестры спиртовку спулил?

— А вы откуда знаете?

— Ну, еще бы. От твоего узла за версту спиртом несет. Не вернешься ли? Может, раздумал?

— Чего там раздумывать, раз решил — значит так тому и быть.

— Ого, как здорово. Знаешь, что? Пошел домой, пока я тебя не выпорол тут же под акациями.

Мелькнула мысль — защищаться ножиком и рогаткой. Мелькнула чудесная лучезарная Америка, покрытая травой, бизонами, индейцами и пантерами... Мелькнуло желание вскочить и задать стечка, но... все это мелькнуло и погасло: отцовская рука держала мое плечо, как клещами.

С позором для меня дошли до дома. Постучались.

— Кто там? — услышали сонный голос матери.

— Американцы, — хихикнул отец. Индейца поймал: на пантере по улицам скакал, от бизона удирал. Получайте сокровище. Расписки не надо...

Утром сидел я, склонив голову над Америкой, выдранной из атласа Ильина и, глядя затянутыми слезой глазами на эту чудесную территорию, изредка тыкал чернильным пальцем в тот или другой штат:

— Вот тут, наверное, сидят индейцы в засаде и поджигают бледнолицых американцев. Тут, наверное, пантера сейчас терзает антилопу, а эта тоненькая линия — гверильмы гуськом едут расправляться с янки.

Почему самое прекрасное в русском детстве — это грэза о далекой чудесной Америке?

Казалось бы, с годами это восторженное отношение должно исчезнуть, однако, нет. Думаю я сейчас, сию минуту об Америке, об американцах — и теплое чувство переполняет мою грудь.

Удивительный народ: деловые до мозга костей, носятся день-деньской на гудящих автомобилях среди стоящих небоскребов, жизнь их гремит так, что кажется — и гудка пароходной сирены не расслышишь, ан нет: из-за тысяч верст донесется до них слабый русский голос: «Помогите» — и вот уже американец с самым деловым видом тут как тут. В руках карандаш, записная книжка, на устах лаконичный вопрос:

— Что нужно прежде всего? Накормить детей? Сколько душ? Молоко, шоколад, платье? А учебники есть?

Не потому ли русские дети всю свою детскую жизнь, как чувствительная магнитная стрелка, поворачивались в сторону Америки, — что американцы так «по-деловому» относятся к русским детям:

— Что нужно в первую голову? Шоколад, консервы, молоко, учебные пособия? Этих двести детей запишите на Америку... И этих пятьсот тоже.

Вот тебе и пантеры. Вот тебе и кровожадные сиуксы!

* * *

В прошлом году в Севастополе Американский Красный Крест без рекламы, без шума, рисовки и треска — тихо, спокойно делал огромное дело: тысячи русских были им накормлены, одеты и обуты. И никаких удостоверений от участковых комитетов, никакой волокиты: стань в очередь и получай.

— Послушайте, — спросил я одного американца, — а вы не боитесь, что часть из того, что вы раздаете — очутится в продаже на базаре?

— А не все ли равно, — спокойно, флегматично отвечал американец. — Может быть, тому, кто продаст, фунт мяса нужнее в данный момент, чем фуфайка.

Говорят, Америка — страна золота.

Очень возможно. Сколько там золотых сердец.

* * *

Совдепия предложила Америке заключить торговый договор. Америка вежливо ответила:

— К сожалению, пока у власти большевики — не можем.

— Почему?

— Потому, что большевики мошенники и убийцы. С убийцами не торгуем.

— Но мы можем исправиться. Мы будем честными.

— Исправьтесь, действуйте от имени русского народа — тогда пожалуйста.

— Да мы и действуем от имени народа.

— Врете. Выйдите пока что из нашего дома — ваше присутствие портит чистый честный воздух.

Вот порядочный разговор порядочных людей.

Чехов утешал:

— И для нас небо будет в алмазах.

Такие мы несчастные, такие всеми брошенные, что иногда думаю я:

— Не те ли это алмазы, не те ли несколько десятков звезд, что рассыпаны на небесном фоне американского флага.

АРКАДІЙ АВЕРЧЕНКО.

ЗАПИСКИ ПРОСТОДУШНАГО.

О нашей жизни, страданіяхъ, о веселыхъ и грустныхъ случаяхъ, о приключеніяхъ, о томъ, какъ мы падали, поднимались, и снова падали, о нашей жестокой борьбѣ и о тихъ радостяхъ...



КОНСТАНТИНОПОЛЬ.
Издательство «Новый Сатириконъ».
1921.

*Дружески посвящаю
ЮЛИИ ПРОКОПОВИЧЪ,
(Горской).*

Предисловіе Простодушнаго.

(Какъ я ухалъ).

— Ёхать такъ ёхать,—добродушно сказалъ попугай, котораго кошка вытащила изъ клѣтки.

Осенью 1920 года мнѣ пришлось наблюдать въ Севастополѣ рѣдкое климатическое явленіе...

Именно, когда уже наступили прохладные дни, обѣщавшіе съ каждой недѣлей дѣлаться все прохладнѣе и прохладнѣе, пока вся эта вереница сутокъ по исконнымъ правиламъ календарей не закончилась бы зимой—въ эти осеніе дни ко мнѣ пришелъ знакомый генералъ и сказалъ:

— Вамъ нужно отсюда уѣзжать...

— Да мнѣ и тутъ хорошо, что вы!

— Именно вамъ-то и нельзя оставаться. Скоро здѣсь будетъ такъ жарко, что не выдержите...

— Жарко!? Но вѣдь уже осень,—чрезвычайно удивился я.

— Вотъ-вотъ. А цыплятъ по осени считаютъ. Смотрите, причтутъ и васъ въ общій котель... Говорю вамъ—очень жарко будетъ!

— Я всегда зналъ, что климатическая условія въ Крыму чрезвычайно колеблющіяся, но, однако, не до такой же степени, чтобы въ октябрѣ бояться солнечнаго удара?!

— А кто вамъ сказалъ, что ударъ будетъ «солнечный»?—тонко прищурился генералъ.

— Однако...

— Уезжайте! — сухо и твердо отрубилъ генералъ. — Завтра же рано утромъ, чтобы вы были на борту парохода!

Въ голосѣ его было что-то такое, отъ чего я поежился и только замѣтилъ:

— Надѣсь, вы мой пароходъ подадите къ Графской пристани? Мнѣ оттуда удобнѣе.

— И въ Южной бухтѣ хороши будете.

— Льстецъ, — засмѣялся я, кокетливо ударивъ его по плечу булкой, только что купленной мною за три тысячи... — Хотите кусочекъ?

— Э, не до кусочковъ теперь. Лучше въ дорогу сохраните.

— А куда вы меня повезете?

— Въ Константинополь.

Я поморщился.

— Гм... Я, признаться, давно мечталъ объ Испаніи...

— Ну, вотъ и будете мечтать въ Константинополѣ объ Испаніи.

Въ тотъ же день я былъ на пароходѣ, куда меня приняли съ распластертыми обѣятіями. Это, дѣйствительно, правда, а не гипербола, насчетъ обѣятій-то, потому что, когда я, влѣзши на пароходъ, со-слѣпу покатился въ угольный трюмъ, меня внизу поймали чьи-то растопыренныя руки.

На пароходѣ я устроился хорошо (въ трюмѣ на угольныхъ мѣшкахъ); потребовалъ къ себѣ капитана (онъ не пришелъ); сдѣлалъ нѣкоторыя распоряженія относительно хода корабля (подозрѣваю, что они не были исполнены въ полной мѣрѣ) и, наконецъ, распорядился уснуть.

Послѣднее распоряженіе было исполнено аккуратнѣе всего...

Путешествіе было непродолжительное, но когда мы подошли къ Константинополю, то меня низачто не хотѣли спускать на берегъ.

Я сначала думалъ, что команда и капитанъ такъ полюбили меня, что одна мысль разстаться съ та-

кимъ пріятнымъ человѣкомъ была имъ мучительна, но на самомъ дѣлѣ случилось наоборотъ: не пускала на берегъ союзная полиція, а команда не прочь была бы даже выкинуть насъ всѣхъ за бортъ, только чтобъ развязаться съ беспокойнымъ непосѣдливымъ грузомъ.

Не желая быть въ тягость—ни командѣ, ни полиціи,—я ночью потихоньку перелѣзъ на стоявшій подлѣ русскій пароходъ-угольщикъ, гдѣ старые морскіе волки приняли меня, какъ роднаго...

Милые вы люди! Если вы сейчасъ, гдѣ нибудь въ плаваніи по бурному океану—пусть надъ вами ярко и ласково сіяетъ солнце, а подъ килемъ нѣжная морская волна пусть нѣжитъ васъ, какъ колыбель—крѣпко желаю вамъ этого!

* * *

Приступая къ «запискамъ», я прежде всего хочу сказать нѣсколько теплыхъ словъ—въ защиту одного господина...

Того самого, который по утвержденію старинной русской легенды, прегорько рыдалъ на свадьбѣ и весело плясалъ на похоронахъ.

Этого господина легенда окрестила яркимъ исчерпывающимъ именемъ;

— Дуракъ.

Да полно! Такъ ли это? Не произошло ли въ данномъ случаѣ жестокой исторической несправедливости? Дуракъ!.. Не наоборотъ ли? Не мудрецъ ли этотъ русскій, проникшій свѣтлымъ умомъ въ самыя глубинныя тайны русскаго бытія.

Человѣкъ горько плачетъ на свадьбѣ... Да вѣдь онъ правъ! Ему, конечно, жалко эту безумную пару, бросающуюся очертя голову, рука-объ-руку въ пучину, изъ которой и одному-то не выбраться!

Человѣкъ веселится на чужихъ похоронахъ... Да вѣдь и тутъ онъ тысячу разъ правъ, этотъ мудрецъ, тихо радующійся, что вотъ, дескать, хоть одинъ человѣкъ наконецъ, устроился, какъ слѣдуетъ: не нужно ему ни пайка, ни визы, ни перескакиванія съ одного берега на другой.

Пора, пора—давно пора—пересмотрѣть наше отно-

шеніе къ дураку. Онъ Мудрецъ. Можетъ быть, раньше это было трудно понять, но теперь, когда вся Россія вывернулась наизнанку и сидитъ на чемоданахъ и узлахъ—мы многое должны пересмотрѣть и переоцѣнить.

Впрочемъ, если быть искреннимъ, то за «бывшаго» дурака, а нынѣ мудреца, я распинаюсь не безъ тайной цѣли: попутно я хочу оправдать и себя, потому что отнынѣ я тоже рѣшилъ «улыбаться на похоронахъ»...

• • • • • • • • • • • • • • •

— ♦ —

I.

Первый день въ Константинополѣ.

... Я забралъ съ парохода свои вещи, сѣлъ въ лодку и подъѣхалъ къ Галатскому берегу.

И едва лодка клюнула носомъ каменную плиту пристани, и едва въ лодку свалился живой клубокъ разнокалиберныхъ тѣлъ—я понялъ, что меня здѣсь знаютъ. Потому что—такъ орать и спорить изъ-за сомнительной чести тащить мои чемоданы—могутъ только люди, искренно чтущіе любимаго писателя.

Эти восточные поклонники быстро расхватали мои вещи—и мы понеслись въ голубую неизвѣстную даль, короче говоря на Перу, а еще короче говоря, въ ту маленькую комнату, которую мнѣ наняли заранѣе.

На Перѣ среди грохота и гвалта меня остановила какая-то Божья старушка—столь же умѣстная тутъ, какъ цвѣточекъ незабудки въ пасти аллигатора.

- Что вамъ, бабушка?
- Голубчикъ мой, а гдѣ-жъ тутъ турки?
- Которые?
- Да вѣдь это, чай, Турція.
- Чай, она.
- А чего-жъ турка ни одного нѣтъ?

Чтобы успокоить эту мятущуюся душу, я ткнулъ пальцемъ въ какого-то господина въ фескѣ, свирѣпо пожиравшаго слоенную дрянь съ лотка.

Это былъ единственный турокъ на горизонтѣ.

— Вотъ этотъ? Вы чего-жъ, батюшка, въ германскую войну давеча втемяшились?

Турокъ пожаль плечами и отвѣчалъ:

— Эхъ, тетя! Нешто не признали? Вмѣстѣ на «Сіамъ» изъ Севастополя ноги уносили...

И обернулся къ продавцу:

— Комбѣнъ сettъ гато?

— Бешь грушъ.

— Оллъ райтъ. А ревидерчи, тетушка.

Какъ во время настоящаго приличнаго столпотворенія—всѣ говорили на всѣхъ языкахъ.

Однако, больше, всего ухо улавливало французскій языкъ. Говорили на немъ бѣженцы такъ, что даже издали слышался густой запахъ нафталина, какъ отъ шубы, которая долго лежала въ сундукѣ безъ употребленія, и которую, наконецъ таки, извлекли на свѣтъ Божій и стали перетряхивать.

Около ресторана Сарматова я слышалъ такой діалогъ.

Господинъ сдѣлалъ испуганное лицо и, подбирая французскія слова, съ такимъ страхомъ, съ какимъ неопытная барышня впервые заряжаетъ револьверъ, спросилъ прохожаго:

— Коммъ же пuve алле данъ л'амбассадъ рюссъ?

Спрошенный отвѣтилъ:

— Тутъ-де-сюиtъ. Вузъ алле ту а гошъ, а гошъ, апрѣ анкоръ гошъ, е иси будутъ... гм... чортъ его знаетъ, забылъ, какъ по ихнему, желѣзныя ворота?..

— Же компранъ,—кинулъ головой первый.—Я понимаю, что такое желѣзныя ворота. Ла портъ де феръ.

— Ну, вотъ и бѣнъ. Идите все а гошъ—прямо и наткнетесь.

* * *

Въ этотъ вечеръ я заснулъ рано, а проснулся еще раньше: ужасный нечеловѣческій вопль прорѣзalъ утренній воздухъ подъ самымъ моимъ окномъ.

Мой компаніонъ по комнатѣ вскочилъ съ кровати и поглядѣлъ на меня дикимъ взглядомъ:

— Понимаете, что это значитъ? Кемалисты вошли въ городъ.

— Н-да, въѣхали мы въ исторію,—пробормоталъ я.—Изъ огня да въ полымя. Однако, пойдемъ на улицу. Вы не боитесь?

— Ну, вотъ не видалъ я этихъ рѣзневъ. Чего тамъ бояться. Русскіе, чай.

А крики, вопли, стоны и мольбы о помощи все неслись и неслись съ улицы. Чувствовалось, что тамъ за стѣной растутъ цѣлые гекатомбы свѣже-нарѣзанныхъ тѣлъ, обильно орошенныхъ кровью.

Мы не могли больше... Мы выбѣжали на улицу.

Молодой грекъ стоялъ около корзиночки, на днѣ которой терялось полъ десятка полудохлой скумбріи — и разинувъ ротъ, ревѣлъ во все горло...

Мы остолбенѣли.

— Слушайте, а вѣдь это онъ кричитъ.

— Но вѣдь его не рѣжутъ.

— А надо бы. Не кричи, каналья.

— Товаръ продаетъ. Извѣстно, трудно имъ.

— Однако, послушайте... Если, продавая только полдесятка дохлой скумбріи, онъ такъ оретъ, какіе же онъ издастъ звуки, если ему поручить продать шестиэтажный домъ?

Ревъ, крики, стоны и вопли неслись уже со всѣхъ сторонъ.

Звѣрь всталъ на заднія лапы, потянулся и, широко раскрывъ огромную пасть, оглушительно заревѣлъ: звѣрь хотѣлъ кушать.



II.

Галантная жизнь Константиноополя.

Шелъ я недавно по той улицѣ, на которой живу —вдругъ мое праздное вниманіе привлекъ одинъ большой ярко-освѣщенный домъ. Изнутри доносилась странная, чисто восточная музыка и слышался топотъ чьихъ-то танцующихъ ногъ. Въ окнахъ мелькало много женскихъ тѣней.

— Э!—сказалъ я самъ себѣ.—Это навѣрное гаремъ какого-нибудь Константинопольского вельможи! Очевидно, онъ справляется день рожденія и захотѣлъ повеселить бѣдныхъ гаремныхъ затворницъ! Вотъ онѣ гдѣ—чарующія тайны загадочнаго Востока!

Не успѣлъ я этого подумать, какъ изъ дверей выпорхнула очаровательная женская фигурка и, схвативъ меня за рукавъ, ясно показала, что ей хочется втащить меня внутрь таинственного дома.

Надо сознаться, что я славлюсь своей скромностью по всему Анатолійскому побережью, но надо также сознаться, что въ тотъ моментъ—пикантное приключение совсѣмъ вскружило мнѣ голову.

Возможность проникнуть въ гаремъ знатнаго вельможи на секунду очень соблазнила меня, и я даже сдѣлалъ движеніе по направленію къ дверямъ, но тутъ же одумался.

А что дальше?

А что если паша вдругъ неожиданно поймаѣтъ меня въ гаремѣ? Я человѣкъ храбрый—и не за себя я боялся!.. Нѣтъ, я боялся за жизнь этого кроткаго, за-

стѣнчиваго, полутикаго созданія, которое такъ довѣрчиво тащило меня за рукавъ, очевидно, чрезвычайно очарованное моей респектабельностью и манерами. Я боялся, что не взойдетъ и два раза луна на небѣ, какъ эта женщина будетъ лежать въ мѣшкѣ на днѣ Босфора. Мой коллега Пьеръ Лоти неоднократно писалъ о такихъ штукахъ.

Эти соображенія охладили меня. Я освободилъ свой рукавъ, сдѣлалъ селямъ бѣдной затворницѣ и быстро удалился, давая дорогу четыремъ англійскимъ матросамъ—очевидно близкимъ друзьямъ паши, потому что они вошли въ домъ безъ доклада, какъ близкіе люди.

На другой день утромъ—о, слабость человѣческая! — я рѣшилъ похвастать передъ друзьями своимъ головокружительнымъ успѣхомъ у турецкой дамы и рассказалъ все приключеніе, не утаивъ ни капельки...

Мнѣ случалось видѣть, какъ смеются люди, я самъ иногда люблю хихикнуть въ подходящемъ случаѣ—но это былъ не смѣхъ! Это было сокрушительное ржаніе обезумѣвшихъ жеребцовъ.

— Не понимаю, что здѣсь смѣшного,—пожалъ я плечами. Конечно, одни мужчины имѣютъ большій успѣхъ у женщинъ, другіе—меньшій, но...

— Знаете, что это за домъ?—спросилъ одинъ пріятель, отдышиавшись.

И шепнуль на ухо словцо, которое заставило вспыхнуть меня до корней волосъ.

— Быть не можетъ!—воскликнулъ я въ ужасѣ.— Вѣдь на этой же улицѣ находится моя квартира!!

— Ну, что жъ такое. Подобное сосѣдство здѣсь бываетъ зачастую.

— Нѣтъ! Ни одного дня моя нога не останется въ этой квартирѣ. Какъ? Не предупредить меня, когда я снималъ комнату? Сейчасъ же иду и выскажу своей хозяйкѣ все, что я о ней думаю!!

Разгоряченный, я выскочилъ изъ кафе на улицу и... тутъ же—одно вѣсмое соображеніе приковало меня къ мѣсту. На какомъ языкѣ я выскажу хозяйкѣ

негодованіе? Она говоритъ только по-гречески, а мой запасъ словъ на этомъ языкѣ былъ чрезвычайно ограниченъ: кали-меросъ, Венизелось и малиста—вотъ тѣ три слова, которыми могъ я орудовать, и которыя въ самой остроумной комбинаціі, все-таки, не могли быть материаломъ для продолжительной морально-этической бесѣды.

На мое счастье я тутъ же наткнулся на древнюю собгеннную гречанку, продавщицу спичекъ, предлагавшую товаръ на ломанномъ русскомъ языкѣ.

— Нѣтъ, бабушка, — сказалъ я. — Мнѣ вашихъ спичекъ не надо. Но если вы переведете моей хозяйкѣ все то, что меня обуреваетъ—я вамъ заплачу польлиры.

Предложеніе оказалось соблазнительнымъ—и мы черезъ минуту уже шагали рука-объ-руку къ моему дому.

— Какъ по гречески „нога“?—спросилъ я.

Она отвѣтила какимъ то безформеннымъ, клейкимъ, какъ ракатъ-лукумъ, словомъ.

— Ну, вотъ. Такъ скажите, что мое это самое у нея въ домѣ не будетъ!

На звонокъ намъ открыла сама хозяйка.

И вдругъ, увидѣвъ нась, она подняла такой крикъ, что, вѣроятно, слышно было на Перѣ.

— Что она кричитъ?—спросилъ я старушку, которая вдругъ сразу расцвѣла отъ хозяйствинаго рева и даже кокетливо поправила выцвѣвшую косынку на безволосой головѣ.

— Ма, она говорити, сто вы не можи приводить себѣ на квартиру даму! Она говорити, сто эта неприлицна, сто эта цестный дома, сто нельзя дами входити... ,

— Ккую даму?—остолбенѣлъ я.—Я никого не приводилъ.

— Она эта говорити на меня. Я—дама.

И польщенная этимъ дикимъ предположеніемъ, она игриво толкнула меня полуразрушеннымъ локтемъ.

Я сочно выругался, вынулъ полъ-лиры и сунулъ ей въ руку.

— Пошла вонъ, старая вѣдьма. Будьте вы обѣ прокляты.

И тутъ же замѣтилъ на лицѣ хозяйки чувство сожалѣнія ко мнѣ, какъ къ человѣку, который заплатилъ за любовь деньги, не насладившись въ то же время радостями этой любви...



III.

Дѣловая жизнь.

Ознакомившись съ городомъ, я рѣшилъ заняться дѣлами. Узнавъ, что всѣ дѣловые люди собираются въ специальному кафе на Перѣ, я пошелъ туда, потребовалъ чашку кофе и усѣлся выжидательно за столикъ—не наклоняется ли какое дѣльце.

На ловца, какъ говорится, и звѣрь бѣжитъ. Ко мнѣ подсѣль неизвѣстный господинъ, потрепалъ меня по плечу и сказалъ:

— Здравствуйте, господинъ писатель, Не узнаете меня?

— Какъ не узнаю,—съ вялой вѣжливостью возразилъ я.—Очень даже хорошо узналъ. Какъ поживаете?

— Дѣла разныя ломаю. А вы?

— Я тоже думаю какимъ-нибудь дѣломъ заняться.

— Лиры есть?

— Нѣмножко есть, — хлопнулъ я себя по карману.

Лицо моего собесѣдника выразило напряженное вниманіе.

— Гм!.. Чтобы мнѣ для васъ придумать?.. Гм!.. Есть у меня одно дѣльце, да... Впрочемъ, подѣлюсь съ вами. Скажите! Вы знаете, сколько вѣситъ баранъ?

— Какой баранъ?—удивился я.

— Обыкновенный. Знаете, сколько онъ вѣситъ?

— А чортъ его знаетъ. Я до сихъ поръ писалъ рассказы, а не взвѣшивалъ барановъ.

— Какъ же вы не знаете вѣса барана?—съ упрекомъ сказалъ незнакомецъ.

— Не приходилось. Впрочемъ, если нужно, я какъ нибудь на дняхъ... когда будетъ свободное ваемя...

— Ну, такъ вотъ! Знайте же, что средній баранъ вѣситъ три пуда!!!

Я изобразилъ на своемъ лицѣ напряженное удовольствіе.

— Смотрите-ка! Кто бы могъ подозрѣвать.

— Да, да... Три пуда. А вы знаете, сколько стоитъ фунтъ баранины? Пятьдесятъ піастровъ.

— Да... вообще сейчасъ жизнь очень запуталась... —неопредѣленно замѣтилъ я.

— Ну, для умнаго человѣка жизнь проста, какъ палецъ. Итакъ, продолжаю. А знаете ли вы, сколько стоитъ цѣлый баранъ въ Кады-Кіоѣ?! Десять лиръ! Итакъ—вотъ вамъ дѣло: вы даете двадцать лиръ и я двадцать лиръ—я покупаю двухъ овецъ, рѣжу ихъ...

— Не надо ихъ рѣзать,—сентиментально попросилъ я.—Они такіе хорошенъкія.

— А какъ же иначе мы ихъ на мясо продадимъ? Я ихъ самъ зарѣжу, не бойтесь. Итакъ, на ваши двадцать лиръ вы будете имѣть шесть пудовъ овечьяго мяса, по розничной цѣнѣ — шестьдесятъ лиръ!!! Да шкура въ вашу пользу, да рога.

Хотя я до сихъ поръ рогатыхъ овецъ не встрѣчалъ, но это была, очевидно, особая мѣстная порода.

Я кивнулъ головой съ видомъ знатока:

— Очень хорошее дѣльце. А когда прикажете внести деньги?

— Да хоть сейчасъ! Чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше. Сколько тутъ у васъ? Ровно двадцать? Ну, вотъ и спасибо. Завтра утромъ бараны уже будутъ у насть. Хотите, я приведу ихъ къ вамъ показать?

Я замялся.

— Не знаю, удобно ли это... Вдругъ ни съ того ни съ сего бараны заходятъ на квартиру... Да еще

моя хозяйка противъ этихъ постороннихъ визитовъ... Нѣтъ, лучше ихъ просто зарѣжьте. Только не мучайте, хорошо?

Мой новый компаньонъ завѣрилъ, что смерть этихъ невинныхъ созданій будетъ совершенно безбоязненна и легка, какъ сонъ—и, пожавъ мнѣ руку, умчался съ озабоченнымъ лицомъ...

Съ тѣхъ поръ прошло 8 дней. Пока я не вижу ни моего компаньона, ни барановъ, ни прибыли.

Очевидно съ компаньономъ что нибудь случилось..

Иногда по ночамъ меня мучитъ совѣсть: правъ ли я былъ, поручивъ этому слабосильному человѣку опасную пропедиатру умерщвленія барановъ? А что если они по дорогѣ сбѣжали отъ него? А что если они передъ смертью вступили съ нимъ въ борьбу и, разъяренные предстоящей участью, растерзали моего бѣднаго компаньона?..

* * *

Вчера со мной произошѣлъ удивительный случай: иду по улицѣ—вдругъ вижу—мой компаньонъ навстрѣчу.

Я радостно кинулся къ нему.

— Здравствуйте, голубчикъ! Ну, что слышно съ баранами?

Онъ удивленно взглянулъ на меня:

— Какіе бараны? Простите, я васъ совершенно не знаю!

— Ка-акъ? Да вѣдь мы же вмѣстѣ хотѣли заработать на баранахъ?

— Простите, я васъ въ первый разъ вижу. Я иногда зарабатываю на баранахъ, но зарабатываю одинъ.

И, отстранивъ меня, онъ пошелъ дальше.

«Однако, какое удивительное сходство»,—бормоталъ я себѣ подъ носъ, провожая его взглядомъ.

«То же лицо, тотъ же голосъ, и даже на баранахъ зарабатываетъ, какъ и тотъ!»

Много тайнъ хранить въ себѣ чарующій загадочный Востокъ.

IV.

Русскія женщины въ Константиноіоль.

Я спросилъ своего пріятеля, разбитнаго малаго и доку по здѣшнимъ дѣламъ.

— Слушай... Я все вижу только одну уличную, по моему, очень неприглядную жизнь... А гдѣ здѣсь, напримѣръ, хорошее русское общество?

— А вотъ зайдемъ... Здѣсь есть за угломъ кабачокъ. Вотъ оно и будетъ хорошее русское общество.

— Въ кабакѣ?!

— Ну ужъ и „въ кабакѣ“. Нужно, милый мой, выражаться мягче: „въ кабачкѣ“, „въ ресторанчи-кѣ“... А то что это за скиеское: „кабакъ“.

Мы подошли къ какимъ-то дверямъ и... съ этихъ поръ мой пріятель повелъ себя крайне странно: расцѣловался съ бравымъ швейцаромъ, дружески пожалъ руку бородатому буфетчику за стойкой и, усаживаясь за столикъ, потеръ руки съ тѣмъ непередаваемымъ значеніемъ, когда русскій человѣкъ собирается хватить рюмку водки съ подобающей этому напитку закуской:

— Ну-съ... Полбутылочки очищенной, селедочки въ горчицѣ и балычка съ перчикомъ.

Я осмотрѣлся. Въ одномъ углу за столикомъ сидѣла съ кавалеромъ извѣстная всему Петербургу Динка-Таницуй, въ другомъ Манька-Кавардакъ, въ третьемъ два именитыхъ столичныхъ шулера, битыхъ въ

въ свое время такъ, что выдубленная кожа на ихъ лицахъ сдѣлалась нѣжной и гладкой, какъ атласъ.

— Вотъ это, по твоему, хорошее русское общество?—ахнулъ я.

— Да не это, чудакъ. Ты на слугъ обрати вниманіе.

Прехорошенькая дама въ кокетливомъ передничкѣ подошла къ намъ съ карточкой.

— Честь имѣю привѣтствовать васъ, графиня,—изысканно расшаркался пріятель.—Позвольте, графиня, представить вамъ моего друга, писателя Аверченко.

— Ну, какъ же, знаю,—милостиво сказала графиня, протягивая очаровательную ручку.—Когда мой мужъ былъ товарищемъ министра—мы часто въ сумерки читали васъ вслухъ. Бывало, заѣду къ Вольфу...

— Катя,—подошла къ графинѣ, другая дама съ крайне озабоченнымъ видомъ.—Тебя къ седьмому номеру просятъ. Неси имъ шницель.

— Поспѣютъ съ козами на торгъ! Потомъ я васъ часто видѣла въ Маріинскомъ на премьерахъ. У насъ былъ абонементъ въ третьемъ ряду, а у васъ... Зиночка, запиши тамъ пожалуйста сорокъ піастровъ за камбалу! Однажды даже около Фелисьена, когда мой автомобиль испортился, вы предоставили любезно свой эки... Маруся смотри, твой гость, кажется, уходитъ, не заплативши!.. Вотъ жулье! Да позвольте! Вѣдь вы даже танцевали со мной однажды на балу въ итальянскомъ посольствѣ... Пошли ты хозяина къ чорту, Зинка! Какъ я пойду въ кабинетъ, когда тамъ всѣ пьяные, какъ зюзя! Пусть самъ принимаетъ заказъ! Вы незнакомы? Зинаида Николаевна баронеса фонъ-Толь. При-саживайся, Зинка. Вѣрите ли, господа, такъ рѣдко теперь увидѣть настоящихъ культурныхъ людей. Иногда только съ нашимъ швейцаромъ перекинешься словомъ...

— Почему... со швейцаромъ...—растерялся я.

— Онъ бывшій профессоръ бестужевскихъ курсовъ.

— Можетъ, и человѣкъ у вѣшалки бывшій полковникъ?—пошутилъ я.

— Нѣтъ, что вы! Генералъ. У насъ только одинъ буфетчикъ изъ разночинцевъ: бывшій настоятель Покровскаго собора.

Мы еще посидѣли съ полчасика съ графиней и баронесой; выпили графинчикъ водки, поговорили о послѣднемъ романѣ Боборыкина; съѣли сосиски съ капустой; спорили о Вагнерѣ; закончили чашкой турецкаго кофе и обсужденіемъ послѣднихъ шаговъ Аントанты.

Цѣлуя на прощанье дамамъ руки, я спросилъ:

— А вашъ супругъ, графиня, тоже здѣсь?

— То есть, гдѣ? Да, онъ въ Константинополѣ, но здѣсь не бываетъ.

— Тяжело?—тихо спросилъ я.

— Нѣтъ, здѣшній хозяинъ не пускаетъ. Мужъямъ, вообще, входъ воспрещенъ. Какъ гость, конечно, можетъ, но ему, понимаете-ли не до того: газеты на Перѣ продаетъ.

Когда мы вышли, пріятель мой сказалъ:

— Ну, вотъ и повращались въ обществѣ...

Встрѣтилъ около Токатліана друга своего Филимона Бузыкина. Правду сказать, это была дружба на половину: только онъ считалъ меня своимъ другомъ, я же относился къ нему съ той холодной унылостью, которая всегда является слѣдствіемъ колебанія: пожать ли ему руку или дать пинка въ животъ.

Звали его Филимонъ Бузыкинъ,—бывшій оптовый торговецъ бычачими шкурами и солеными кишками.

Именовалъ онъ себя „ходокомъ на счетъ женского пола“, но въ какія мѣста ходилъ Филимонъ Бузыкинъ за этимъ священнымъ дѣломъ, я не рискнулъ указать печатно.

— Писатель!—заревѣлъ онъ на подобіе одного изъ его быковъ, во время операциіи сдиранія шкуры.— Вотъ здорово! И вы туточки?! Ну, какъ насчетъ женского пола?

— Подите къ чорту,—посовѣтовалъ я.

— Нѣтъ, серьезно. Вотъ, знаете, гдѣ нашему

брату—лафа! Такія, братъ, бабеночки и все русскія, и все русскія! Княгиня—пожалуйста! Баронеса—пожалуйста!

И, согнувшись въ видѣ буквъ „Г“,—онъ оглушительно захочоталъ.

Своимъ хохотомъ онъ занялъ весь троттуарь, потому что троттуары здѣсь очень узенькие, а буква „Г“—вовсе не такая буква, чтобы дать кому нибудь проходить своей верхней перекладиной.

Проходившій англичанинъ наткнулся на эту живую преграду, постоялъ, крякнулъ, смѣль стѣкомъ смѣшливаго Филимона на мостовую и—длинный, прямой, холодный, какъ палка,—прослѣдовалъ дальше.

Я разогнула Филимона и попросилъ его держать себя тише и прямѣе.

— Ой-же-жъ, не могу, до чего тутъ хорошия бабенки въ ресторанчикахъ!

— Осель вы,—строго сказалъ я.—Изъ—за того, что приличныя женщины, по нуждѣ, пошли служить въ ресторанъ, вовсе не надо взвизгивать и икать на всю Перу.

— Приличныя?! Ой, вы-жъ меня уморите. Да любая изъ нихъ дастъ вамъ поцѣлуичкъ! Я одну поцѣловалъ—она такъ разнѣжилась: „Ахъ ты, говорить стюпидикъ мой, со, говорить ты мое! Такъ и рѣжетъ по французскому.

— Филимонъ, ты глупъ,—нетерпѣливо сказалъ я.

— Я глупъ? А хотите, вотъ сейчасъ пойдемъ въ эту кабачару—тутъ есть прехорошенъкія. Если не сорву поцѣлуичика—я васъ угощаю Моэтъ-Шандономъ, сорву—вы меня.

Это былъ рѣдкій случай, когда честь женщины колебалась на горлышкѣ шампанской бутылки.

Филимонъ втащилъ меня въ ресторанъ, плюхнулся за столикъ и, вертя корявымъ пальцемъ, подозвалъ къ себѣ пышную золотоволосую блондинку въ традиціонномъ передничкѣ.

— Маруся! Подь-ка сюды.

— Я не Маруся,—спокойно возразила дама, гля-

дя холодными застывшими глазами поверхъ головы Филимона Бузыкина.

— А кто же вы?—спросилъ Филимонъ, разглядывая ее съ тупой раздумчивостью.

— Я—баронеса Тизенгаузенъ. Меня зовутъ Елена Павловна.

— А! Очень пріятно. Каково прыгается? Присѣли. бы, а?

— Не могу, простите. Должна принять заказъ на другомъ столѣ.

Филимонъ толкнулъ меня въ бокъ и обратился къ дамѣ чертовски фривольнымъ тономъ:

— О, сettъ аффре! Въ такомъ случаѣ, я долженъ вамъ сказать два слова по секрету.

Онъ вскочилъ, взялъ растерявшуюся отъ его бурнаго натиска даму за локоть и отвелъ за дверь пустого кабинетика.

Первое мгновеніе тамъ была мертвая тишина, но потомъ разразился звукъ—очевидно, поцѣлуя,—потому что расторопный Филимонъ ручался мнѣ въ этомъ.

Однако, никогда въ жизни не приходилось мнѣ слышать болѣе отчетливаго поцѣлуя. За дверью будто сговорились дать мнѣ ясно понять, что пропала моя бутылочка Кордонъ-Вэр‘а.

Я вздохнулъ, печалясь не столько о бутылкѣ, сколько о баронессѣ...

Дверь отворилась. Мимо меня быстро прошла баронесса и скрылась въ буфетной. За ней вышелъ Филимонъ, по своему обыкновенію, цѣпляясь носкомъ одной ноги за каблукъ другой.

— Слышали?—спросилъ онъ съ вялымъ торжествомъ въ голосѣ.

— Да. Звукъ отчетливый. Позвольте, Филимонъ! Вѣдь она васъ пѣцѣлсвала только одинъ разъ?

— Одинъ,—съ досадой огрызнулся онъ.—Не сто же. Я больше и не хотѣлъ.

— Въ щеку поцѣловала?

— Да, этого... въ щечку.

— Странно: одинъ поцѣлуй, а на щекѣ пять красныхъ слѣдовъ.

— Губы накрашены,—угрюмо пробормоталъ Филимонъ, глядя въ уголъ.

— Нѣтъ... Вы видите, краска все блѣднѣеть и блѣднѣеть... Вотъ уже и сошла. Нѣтъ, это не губная помада, Филимонъ! Въ чемъ же дѣло, Филимонъ?

— Отстаньте.

— Позвольте... Пора же суммировать все произошедшее... Что случилось? Человѣкъ рѣшилъ за дверью сорвать у дамы поцѣлуй. Сказано—сдѣлано. Я и услышалъ за дверью звукъ. Но звукъ былъ одинъ, очень отчетливый звукъ, а слѣдовъ на щекѣ пять. Какъ же это понять, Филимонъ, а?...

— А, можетъ, у нея рука накрашена,—сказалъ Филимонъ, но тутъ же спохватился, вспыхнулъ и повѣсили голову.

— Скверная бабенка,—со вздохомъ сказалъ онъ.—Невоспитанная.

— Ну, что вы! Я ее немного знаю по Петербургу. Она окончила Смольный Институтъ.

— И чему ихъ тамъ въ этомъ Институишкѣ учатъ?—сердито буркнуль Филимонъ, и постучавъ согнутымъ пальцемъ по столу, гаркнуль:

— Эй, гарсонъ, Унь бутыль кордону Вѣру и апрекелькѣ-шозъ юнь жареный миндаль. Плю витъ поворачивайся.

Я налилъ первый бокалъ и, не чокаясь съ Филимономъ, тихо въ одиночествѣ выпилъ. Выпилъ за скорбный, покрытый кровью, слезами и грязью непривѣтливый путь нынѣшней русской женщины.

Иди, женщина русская, бреди по колѣна въ грязи. Дойдешь же ты, наконецъ, или до лучшаго будущаго или... до могилы...

Тамъ отдохнешь отъ жизни.

У меня на глазахъ стояли слезы.

Надо отдать Филимону справедливость: разсчитывался онъ за шампанское тоже со слезами на глазахъ.



V.

Русское искусство.

— Вы?

— Я.

— Глазамъ своимъ не вѣрю!

— Такимъ хорошенъкимъ глазкамъ не вѣрить—
это преступленіе.

Отпустить подобный комплиментъ днемъ на Перѣ,
когда сотни летящаго мимо народа не разъ толкаютъ
васъ въ бока и въ спину—для этого нужно быть
очень свѣтскимъ, чрезвычайно элегантнымъ человѣ-
комъ.

Таковъ я и есть.

Обладательница прекрасныхъ глазъ, извѣстная
петербургская драматическая актриса, стояла передо
мной, и на ея живомъ лукавомъ лицѣ въ одну мину-
ту смынялось десять выраженій.

— Слушайте, Простодушный! Очень хочется васъ
видѣть. Вѣдь вы—мой старый милый Петербургъ.
Приходите чайку попить.

— А гдѣ вы живете?

Во всякомъ другомъ городѣ этотъ простой воп-
росъ вызвалъ бы такой же простой отвѣтъ: улица та-
кая-то, домъ номеръ такой-то.

Но не таковъ городишко—Константинополь!

На лицѣ актрисы появилось выраженіе небы-
валой для нея растерянности:

— Гдѣ я живу?.. Позвольте... Не то Шашлы-Ба-
шлы, не то Бюкъ-Темрюкъ. А можетъ быть, и Ка-

занлы-Базанлы. Впрочемъ, лучше дайте мнѣ карандашкъ и бумажку—я вамъ нарисую.

Отчасти, дѣлается понятной густая толпа, толкующаяся на Перѣ: это все русскіе стоятъ другъ противъ друга и по полъ-часа объясняютъ свои адреса: не то Шашлы-Башлы, не то Бабаджанъ-Османлы.

Выручаетъ, обыкновенно, карандашъ и бумажка, причемъ, отправной пунктъ—Токатліанъ: это та печка, отъ которой всегда танцуетъ ошалѣвшій русскій бѣженецъ.

Рисуются двѣ параллельныхъ линіи—Пера. Потомъ квадратикъ—Токатліанъ. Потомъ...

— Вотъ вамъ,---говорила актриса, чертя карандашомъ по бумагѣ,—эта штучка—Токатліанъ. Отъ этой штучки вы идете налѣво, сворачиваете на эту штучку, потомъ огибаете эту штучку—и тутъ второй домъ—гдѣ я живу. Номеръ 22. Третій этажъ, квартира барона К.

Я благоговѣйно спряталъ въ бумажникъ этотъ странный документъ и откланялся.

На другой день вечеромъ, когда я собирался въ гости къ актрисѣ, зашелъ знакомый.

— Куда вы?

— Куда? Отъ Токатліана прямо, потомъ свернуть въ одну штучку, потомъ въ другую. Квартира барона К.

— Знаю. Хорошій домъ. Что жъ это вы, дорогой мой, идете въ такое аристократическое мѣсто—и въ пиджакъ.

— Не фракъ же надѣвать!

— А почему бы и нѣтъ. Вечеромъ въ гостяхъ фракъ—самое разлюбезное дѣло. Все таки, это вѣдь заграница!

— Фракъ такъ фракъ,—согласился я.—Я человѣкъ сговорчивый.

Одѣлся, и сверкая туго накрахмаленнымъ пластрономъ фрачной сорочки—отправился на Перу—танцевать отъ излюбленной русской печки.

Если въ Константинополѣ вамъ извѣстна улица и номеръ дома, это только половина дѣла. Другая

половина—найти номеръ дома. Это трудно. Потому что седьмой номеръ помѣщается между 29-мъ и 14-мъ, а 15-й скромно заткнулся между 127-б и 19-а.

Вѣроятно, это происходитъ потому, что туркамъ наши арабскія цифры не извѣстны. Дѣло происходило такъ: рѣшивъ перенумеровать дома по арабски, муниципалитетъ надѣлалъ нѣсколько тысячъ дощечекъ съ разными цифрами и свалилъ ихъ въ кучу на главной площади. А потомъ каждый домовладѣлецъ подходилъ и выбиралъ тотъ номеръ, закорючки и загогулины которого приходились ему больше по душѣ.

Искомый номеръ 22 былъ сравнительно приличенъ: между 24-мъ и 13-мъ.

На звонокъ дверь открыла дама очень элегантнаго вида.

— Что угодно?

— Анна Николаевна здѣсь живетъ?

— Какая?

— Русская. Бѣженка.

— Ахъ, это вы къ Аnnушкѣ! Аnnушка! Тебя кто-то спрашиваетъ.

Раздался стукъ каблучковъ, и въ переднюю вы-порхнула моя пріятельница, въ фартукѣ и съ какой-то тряпкой въ рукѣ.

Первые слова ея были такія:

— Чего тебя, Ирода, черти по параднымъ но-сять?! Не могъ черезъ черный ходъ притти?!

— Виноватъ растерялся я.—Вы сказали...

— Что сказала, то и сказала. Это мой кумъ, барыня. Я его допрежъ того въ Питербурхѣ знала. Иди ужъ на кухню, раздѣтайся тамъ. Недотепа!

Кухня была теплая, уютная, но не особенно пригодная для моего элегантнаго фрака. Сѣрая тужурка и каска пожарнаго были бы здѣсь гораздо умѣстнѣе.

— Ну, садись кумъ, коли пришелъ. Самоваръ, чать, простылъ, но стакашку еще нацѣдить—возможное дѣло.

— А я вижу, вы съ гранъ-кокетъ перешли на характерныя,—уныло замѣтилъ я, вертя въ рукахъ какую-то огромную ложку съ дырочками.

— Чаво? Я стало быть тутъ у кухаркахъ пристроиласъ. Ничего, хозяева добрые, не забижаютъ.

— На своихъ харчахъ?—дѣловито спросилъ я, чувствуя, какъ на моей головѣ невидимо выростаетъ мѣдная пожарная каска.

— Хозяйскія. И отсыпное хозяйское.

— И доходъ отъ мясной и зеленной имѣете?

— Законный процентъ. (Въ послѣднемъ словѣ она сдѣлала удареніе на „о“). А то, можетъ, щецъ похлебаешь? Съ обѣда остались. Я бѣ разогрѣла.

Вошла хозяйка.

— Аиннушка, самоваръ поставь.

Во мнѣ заговорилъ джентльменъ.

— Позвольте я поставлю, —предложилъ я, кашлянувъ въ кулакъ.—Я мигомъ. Стриженная дѣвка не успѣеть косы заплести, какъ я его ушкварю. И никакихъ гвоздей. Вы только покажите: куда насыпать угля и куда налить воды.

— Кто это такой, Аиннушка?—спросила хозяйка, съ осталбенѣлымъ видомъ разглядывая мой фракъ.

— Такъ одинъ тутъ. Вродѣ, какъ сродственникъ. Онъ, барыня, тихій. Ни тебѣ напиться, ни тебѣ набезобразить.

— Вы давно знакомы?

— Съ Петербурга,—скромно сказалъ я, переминаясь съ ноги на ногу.—Аиннушка въ моихъ пьесахъ играла.

— Какъ... играла? Почему... въ вашихъ?

— А кто тебя за языкѣ тянетъ, эфіепъ,—съ досадой пробормотала Аиннушка.—Мѣста только лишишься изъ-за васъ, чертей! Видите ли, барыня... Ихня фамилія—Аверченко.

— Такъ чего жъ вы тутъ, Господи! Пожалуйте въ столовую, я васъ съ мужемъ познакомлю. Мы очень рады...

— Видала?—заносчиво сказалъ я, подмигивая.—А ты меня все ругаешь. А со мной господа за ручку здороваются, къ столу приглашаютъ.

Съ чернаго хода постучались. Вошелъ еще одинъ Аиннушкинъ гость, мой знакомый генералъ, командо-

вавшій третьей арміей. Онъ скромно остановился у притолки, снялъ фуражку съ галуномъ и сказалъ:

— Чай да сахаръ. Извините, что поздно. Такое наше дѣло швейцарское.

* * *

Мы сидѣли въ столовой, за столомъ, покрытымъ бѣлоснѣжной скатертью. Мы, троє—кухарка, швейцаръ и я.

Хозяинъ побѣжалъ въ лавку за закуской и виномъ, хозяйка на кухнѣ раздувала самоваръ.

Д мы сидѣли троє—кухарка, швейцаръ и я—и, сблизивъ головы, тихо говорили о томъ, что еще такъ недавно сверкало, звенѣло и искрилось, что блистало какъ молодой снѣгъ на солнцѣ, что переливалось всѣми цвѣтами радуги и что теперь—залилось океаномъ топкой грязи.

Усталые, затуманенные слезами глаза тщетно сверлятъ завѣсу мглы, пошленную Господомъ Богомъ... Какая это мгла? Прѣдразсвѣтная? Или это сумерки, за которыми идетъ ночь, одиночество и отчаяніе?



VI.

Константинопольский звѣринецъ.

— Поглядите, Простодушный,—обратился ко мнѣ пріятель.—Хотите посмотреть звѣринецъ?

— А развѣ въ Константинополѣ есть?

— Есть.

— Съ удовольствиемъ. Я обожаю звѣрей.

— Ну, это надо дѣлать съ разборомъ,—наставительно процѣдилъ сквозь зубы пріятель.—Такъ пойдемъ. Сейчасъ какъ разъ часть ихъ кормленія.

Конечно, я Простодушный. Но не до такой же степени, чтобы не отличить простой обыкновенный звѣринецъ отъ простого ресторана.

А мѣсто, куда привелъ меня пріятель какъ разъ и было—препошлѣйшимъ рестораномъ, въ которомъ если и были звѣри, то на тарелкахъ и въ самомъ неизнаваемомъ видѣ...

— Что жъ вы меня дурачите? — строго спросилъ я.

Онъ усмѣхнулся въ усы.

— Не сердитесь, Простодушный. Увѣряю васъ, это самый настоящій Константинопольскій звѣринецъ. Въ крайнемъ случаѣ—Панопотикумъ. Что ни фигура —то рѣдкая зоологическая разновидность.

— Ну, что, напримѣръ, интереснаго въ томъ рыженькомъ съ фіолетовымъ галстукомъ?

— Въ немъ то? Да это, если правду сказать—единственный человѣкъ въ мірѣ, который ухитрился самъ себя за волосы надѣ землей приподнять.

— Но вѣдь сейчасъ онъ не въ этомъ приподнятомъ состояніи?

— Нѣтъ. Опустился порядочно. Но, вообще... Знаете ли, что этотъ человѣкъ ухитрился три года пробыть военноплѣннымъ у русскихъ?

— Ничего нѣтъ удивительнаго. Нѣмецъ?

— Русскій.

— Но воевалъ то—въ рядахъ нѣмцевъ?

— Въ русскихъ рядахъ.

— Да тогда это, дѣйствительно, что-то странное. Русскій—и очутился въ русскомъ плѣну? Можетъ, врѣтъ?

— Нѣтъ, эту исторію я знаю досканально. Видите ли, попалъ онъ въ качествѣ русскаго солдата на передовыя позиціи. Ну, сами понимаете—холодно, иногда голодно, а вообще—страшно; стрѣльба, атаки и, прочія жуткія вещи. А тутъ однажды выслали его часовымъ въ сторожевое охраненіе. И когда остался парень глухою ночью, одинъ, когда между нимъ и австрійцами не было никакой преграды—такая жуть взяла его, что онъ чуть не взвылъ отъ страху... Такъ испугался, что бросилъ ружье и побѣжалъ куда глаза глядятъ. И вдругъ — трахъ! — наткнулся на что-то. Смотритъ,—убитый австріецъ, совсѣмъ холодный. Почекасъ нашъ воинъ свой промерзлый затылокъ, раздѣлъ австрійца, надѣлъ все это на себя, захватилъ и ружье—и твердыми шагами пошелъ обратно—прямо въ штабъ сосѣдняго полка. Набѣжали наши, схватили, привели: „Ты кто?“— „Славянинъ. Не желаю воевать. Желаю въ плѣнъ. Я люблю русскихъ“—„Ну, молоцъ“. Угостили водкой, отослали въ тылъ, а потомъ и отправили куда-то въ Сибирь, въ лагерь военноплѣнныхъ. Три года прожилъ, какъ у Христа за пазухой.

— Гм... да. Любопытныи звѣрь. А это кто?

— Этотъ? Тоже штучка. Помните крымскую эвакуацію? Легко было тогда списаться на берегъ? То-то оно. И рекомендацію требовали, и поручительство, и отзывъ о поведеніи... А онъ сдѣлалъ проще; подстерьегъ, когда французская комиссія на пароходѣ пріѣ-

хала—да и запутался между французами въ качествѣ переводчика. Суетился, переводилъ—больше всѣхъ... Совсѣмъ подкупилъ французовъ... Тѣ и спрашиваютъ: —А вы тутъ, что дѣлаете?“—„А я, говоритъ, съ вами пріѣхалъ съ берега—родственника хочу взять“.— „А вы сами кто такой?“? „Помилуйте — у меня тутъ свой заводъ, я его туда инженеромъ пристрою — на тысячу лиръ въ мѣсяцъ... Онъ замѣчательный человѣкъ!! Идеальная личность! Я его хочу на всю жизнь обеспечить. Вотъ и паспортъ его—поставьте штемпелечекъ!“ Да и подсунулъ свой паспортъ. Онѣ видятъ —такое солидное лицо ручается—поставили!

— Да...—задумчиво замѣтилъ я.—Вотъ это я называю самодѣятельностью... Самъ себя расхвалилъ, самъ себя взялъ на поруки и самъ же себя списалъ на берегъ... Вашъ звѣринецъ начинаетъ меня заинтересовывать! Что это, напримѣръ, за рѣдкая черная птица?

— О немъ—два слова. Буквально два. Я даже не скажу ихъ, а только покажу его визитную карточку.

Пріятель безцеремонно подошелъ къ жгучему брюнету, пестро одѣтому, попросилъ визитную карточку и, улыбаясь уголками рта, вернулся ко мнѣ.

— Глядите—характеристика всего въ два слова: „Христофоръ Христолидисъ — коммиссіонеръ удовольствій“.

Я даже присвистнулъ.

— Да развѣ есть такая профессія?

— Очевидно.

— Ну, какое же удовольствіе можетъ доставить мнѣ этотъ „коммиссіонеръ удовольствій“?.. Скажемъ, для меня лучшее удовольствіе, когда я лягу въ постель, почитать разсказы Андреева или Куприна. Что жъ онъ будетъ сидѣть ~~около~~ меня и читать?

Пріятель разсмѣялся.

— Поистинѣ, вы съ честью носите свою кличку Простодушнаго! Нѣтъ, Христо коммиссіонеръ совсѣмъ не такихъ буколическихъ удовольствій... Дайте ваше ухо.

— Ну, разъ ухо,—тогда я понимаю и безъ уха. Хорошая птица!.. И лицо этакое... выразительное... и клювъ на мѣстѣ... А вонъ у того господина, наоборотъ, очень приличный видъ.

— Еще бы! Импресаріо Шаляпина.

— А-а! Возилъ Шаляпина?

— Нѣтъ, не возилъ.

— Но вы же говорите—импресаріо.

— Видите ли... Онъ устраивалъ во всѣхъ городахъ концерты Шаляпина, но ему всегда не хватало одной маленькой подробности: самого Шаляпина.

— Однако, это вѣдь очень густо пахнетъ тюрьмой...

— Помилуйте, за что же! У него все это было безъ уголовщины. Скажемъ, пріѣзжаетъ онъ въ Кременчугъ, выпускаетъ афиши: „концертъ Ф. И Шаляпина“—публика валомъ валитъ въ кассу, однако тамъ уже аншлагъ: всѣ билеты проданы. Всѣ въ отчаяніи, но тутъ выходитъ этакій благодѣтель—онъ же самый—и шепчетъ на ухо тому, другому, третьему: „Есть у меня десятирублевые билетики, да только меньше 15—никакъ не могу продать“. „Голубчикъ, продайте“. Продаетъ. А когда всѣ билеты проданы изъ—подъ полы за полуторную цѣну—новый анонсъ: „Ввиду болѣзни Шаляпина—концертъ отмѣняется. Деньги за билеты можно получить обратно въ кассѣ“. И честно возвращаетъ: на билетѣ—10, получи 10, на билетѣ—20 получи 20. До копѣекъ со всѣми расплачивается.

— Чортъ его знаетъ,—опасливо покосился я на импресаріо.—Мы тутъ сидимъ, разговариваемъ, какъ ни въ чемъ не бывало, а вѣдь они всѣ не въ кѣткахъ. На свободѣ.

И какъ будто въ подтвержденіе моихъ словъ на меня сзади накинулся одинъ звѣрь, щелкая зубами и сверкая глазами.

— А-а,—кричалъ онъ,— кого я вижу! Сколько лѣтъ, сколько зимъ! Я вѣдь васъ по Питеру еще знаю. Говорятъ, недурно устроились. Случайно, есть замѣчательно выгодное для васъ дѣло.

— Если замѣчательно выгодное,—серъезно сказалъ я,—то заранѣе иду на него.

— Вотъ и прекрасно! Видите-ли, у меня въ Орлѣ есть домъ. Такъ какъ тамъ большевики, а мнѣ нужны деньжата, то я бы вамъ его дешево продалъ. За три тысячи лиръ. Даже за полторы. Я вамъ и адресъ дамъ. Дайте пока 500.

— Согласенъ!—весело вскричалъ я.—Домъ беру. Тѣмъ болѣе, что у меня около Орла есть имѣньяце, на которое я не прочь помѣнять домъ. Вашъ домъ стоитъ 3000, мое имѣньяце 3200. Доплатите мнѣ 200 лиръ и забирайте все имѣньяце. Тамъ и адреса не нужно—всякій дуракъ знаетъ. Спросите «Дверченковку». Коровы есть, павлины.

Но онъ не слушалъ. Шепталъ уже что-то за другимъ столикомъ.

Мой пріятель смѣялся.

— Ничего, — говорилъ онъ. — Это не страшно. Иногда даже можно просунуть руку сквозь прутья клѣтки и пощекотать ихъ за ухомъ.

VII.

Второе посещение звѣринца.

— Вашъ Константинопольскій звѣринецъ мнѣ очень понравился,—сказалъ я, подмигивая Опытному пріятелю при встрѣчѣ.— Не сведете ли вы меня туда снова.

— То-то же. Я сразу угадалъ въ васъ опытнаго зоолога. Ну, что съ вами дѣлать—пойдемъ.

Въ звѣринцѣ я увидѣлъ почти всѣхъ старыхъ знакомыхъ: и «комиссіонера удовольствій» и человѣка, который самъ себя поднялъ за волосы, и того, что въ одномъ случаѣ далъ о себѣ восторженный отзывъ... Но, кромѣ этихъ удивительныхъ прежнихъ экземпляровъ были и новые, свѣженѣкіе.

Осмотрѣлъ я сначала грузнаго, плохо выбритаго мужчину съ каменнымъ неискусственно высѣченнымъ лицомъ.

— Посмотрите вы на него: какъ будто ни одной тонкой мысли не можетъ отразиться на его лицѣ—а на самомъ дѣлѣ—тонкій психологъ! Достоевскій по проникновенности въ глубины человѣческаго духа.

— Писатель онъ, что-ли?

— Совсѣмъ напротивъ, какъ говорятъ институтки. Каторжная у него профессія.

— Ну, не томите!

— Слушаю-съ. Сей мужъ ходитъ по Перѣ и ищетъ подходящихъ для дѣла парочекъ. Скажемъ, идетъ такая, тѣсно прижавшись другъ къ другу, онъ ей все время бубнитъ вполголоса неизсказаемое, вѣч-

ное: „Ольга Петровна, знаете ли вы, что, вашъ образъ не даетъ мнѣ покою: день и ночь стоите вы, прекрасная, чуткая передо мною“...—„Виновать“!—вдругъ раздается сбоку голосъ „психолога“. „Можно на минутку?“ — „Что прикажете?“ отрывается отъ сладкихъ словъ въ сторону влюбленный. Психологъ наклоняется къ его уху и выразительно шепчетъ три слова. Понимаете?—Только три слова!

— Какія?

— Три слова: „Лиру или въ морду!“ И у него при этомъ такое мужественное и рѣшительное лицо, что третьяго выхода, очевидно, быть не можетъ. Влюбленный сразу соображаетъ всѣ шансы *pro* и *contra*: затѣшь скандалъ, получишь пощечину при любимой дѣвушкѣ—одна сторона. Сдѣлать пріятное лицо и вручить безболѣзненно лиру мужественному психологу—другая сторона. „Съ удовольствіемъ“—съ напряженной привѣтливостью отвѣчаетъ влюбленный, вынимаетъ изъ бумажника лиру и вручаетъ по при- надлежности.

«Кто это?»—спрашиваетъ дѣвушка, когда психологъ отошелъ. «Это? Одинъ мой старый пріятель, впавшій въ бѣдственное положеніе. Понимаете, у него тоже есть любимая женщина, которая больна сей- часъ. Понимаете, не могъ не помочь. Онъ меня раст- рогалъ до слезъ».—„Какой вы добрый“ шепчетъ умиленно дѣвушка и крѣпче прижимается къ своему спутнику. И всѣ довольны. А психологъ снова спѣ- шитъ къ новой намѣченной парочкѣ и снова шелеп- ститъ его категорическій шопотъ: „Лиру или—въ морду“!

Я взглянулъ на стѣнобитное лицо „психолога“ Очевидно, онъ очень много билъ на своемъ вѣку. Но и его били не мало.

— Слѣдующій экземпляръ,—тономъ сторожа при- клѣткахъ, дающаго объясненія,—продолжалъ опыт- ный пріятель.—Ихъ, собственно, даже двое—видите рядышкомъ сидятъ. Но прежде, чѣмъ о нихъ—взгля- ните на это письмо!

Я прочиталъ вынутое имъ изъ кармана письмо:

„Вамъ пишетъ женщина, которой вы не знаете, но которая безумно, молниеносно влюбилась въ васъ. Что вы со мной сдѣлали? Я молода, говорятъ, очень красива, за мной хвостъ платоническихъ взыхателей, но никто мнѣ не нуженъ съ тѣхъ поръ, какъ я увидѣла васъ, моя звѣздочка. Я хочу встрѣтиться съ вами! Буду завтра въ ресторанѣ „Слонъ“. Подождите меня за бутылкой Кордонъ-Вэръ, бокалъ котораго и я выпью. Вся и всегда ваша—Людмила N...“

— Счастливецъ вы,—со вздохомъ зависти сказалъ я.—Какъ васъ любятъ женщины!!

— Чорта-съ-два,—грубо перебилъ Опытный.—Я, какъ дуракъ, проторчалъ полтора часа, выпилъ всю бутылку и ушелъ!

— Навѣрное, ее мужъ не пустилъ—утѣшилъ я.

— Какой тамъ къ чорту мужъ, когда письмо, какъ я потомъ выяснилъ, написано этими двумя фруктами, которые сидятъ передъ вами.

— Но вѣдь они мужчины?!—простодушно изумился я.

— Ну-да. Хозяева ресторана „Слонъ“. Это они такимъ образомъ заманивали въ свой вертепъ публику. Узнавали адреса и катали въ день по два десятка такихъ бильеду. Не щадили ни пола, ни возраста.

— Все таки, они дали вамъ нѣсколько минутъ красиваго переживанія, когда вы ожидали за бутылкой шампанскаго. А что такое подлинное счастье? Оно заключается въ ожиданіи счастья.

— Ну, вотъ вамъ послѣдній экземпляръ, и пойдемъ. Это, видите-ли, теперь рантье. онъ тихо и честно живетъ на проценты съ валюты, которую вывезъ изъ Крыма, а валюту онъ получилъ, благодаря успѣшной конкуренціи съ двадцатью пятью кошками.

— Поистинѣ, эфенди, я ничего не понимаю!

— Въ этомъ вы похожи на тѣхъ кошекъ, которые тоже ничего не понимали. Была, видите-ли, у него въ Крыму богатая тетка—невѣроятная кошатница и ханжа. Вся ея жизнь была въ двадцати пяти кошкахъ и котахъ и въ хожденіи въ церковь на всѣ обѣди, вечерни и заутрени.

И пріѣхалъ къ ней гостить племянникъ, этотъ самый хитроумный молодой человѣкъ. Видѣть—кошкамъ все, ему ничего. Пронюхалъ даже, что сумасбродная старуха все свое состояніе отказалася на содержаніе котовъ, обойдя племянника. Думалъ онъ думалъ, цѣлыми днями валяясь на кровати—и удумалъ... Снялъ однажды со стѣны арапникъ, пошелъ во флигель, гдѣ коты—нѣсколько разъ перекрестился на образъ и ну лупить котовъ арапникомъ по спинамъ и по мордамъ... Коты, конечно, кто—куда: по шкафамъ, подъ столы, на портьеры вскарабкались... И принялъ онъ продѣлывать эту штуку цѣлыхъ полтора мѣсяца—ежедневно. Какъ старуха въ церковь, онъ сейчасъ же арапникъ со стѣны, во флигель войдетъ, истово перекрестится и ну—утюжить по головѣ, по чемъ попало. Тѣ опять—кто куда.. И вотъ однажды, когда счелъ онъ дрессировку законченной—приходитъ къ теткѣ и говоритъ: «тетя! Вы человѣкъ богомольный... И мнѣ тяжело, говоритъ, тетя, что вы такъ котовъ любите, а въ нихъ нечистый духъ сидитъ». „Зачѣмъ врешь,—возмутилась тетка.—Бѣдныхъ котиковъ обижашь. Откуда тамъ въ нихъ нечистая сила?— «А пойдемъ во флигель, докажу!» Вошли они, сталъ онъ посрединѣ и—только перекрестился, какъ коты—кто куда, подъ столы, на комоды, на портьеры карабкаются—визгъ мяуканье, будто, дѣйствительно, въ нихъ дюжина бѣсовъ! «Видите, тетя!» Разогнала тогда старуха котовъ, а богомольному племяннику почти всѣ деньги при жизни передала.

Я поглядѣлъ на богомольного племянника: у него было кроткое, мягкое женственное лицо: такія лица бываютъ у каторжниковъ, попавшихся за поддѣлку ассигнацій...

VIII.

ОККУЛЬТИСТЫЯ ТАЙНЫ ВОСТОКА.

Прехорошенькая дама повисла на пуговицѣ моего пиджака и мелодично прощебетала.

— Пойдите къ хироманту!

— Чего-о-о?

— Я говорю вамъ—идите къ хироманту! Этотъ оккультизмъ такая прелестъ. И вамъ просто нужно пойти къ хироманту! Эти хироманты въ Константино-полѣ такіе замѣчательные!

— Низачто не пойду—увѣсисто возразилъ я—Ноги моей не будетъ... или, вѣрнѣе—руки моей не будетъ у хироманта.

— Ну, а если я васъ поцѣлую—пойдете?

Когда какой либо вопросъ переносится на серьезную дѣловую почву — онъ начинаетъ меня сразу интересовать.

— Солидное предложеніе,—задумчиво сказалъ я.

— А когда пойти?

— Сегодня же. Сейчасъ.

— Авансъ будетъ?

Фирма оказалась солидная, нестѣснявшаяся затратами.

Пошелъ.

*

Римскіе патриціи, которымъ надоѣдало жить, передъ тѣмъ, какъ принять ядъ—пробовали, его на своихъ рабахъ.

Если рабъ умиралъ легко и безболѣзненно—патрицій спокойно слѣдовалъ его примѣру.

Я рѣшилъ поступить по этому испытанному принципу: посмотреть сначала, какъ гадаютъ другому, а потомъ уже—и самому шагнуть за таинственную звѣсу будущаго.

Около русскаго посольства всегда толчется масса праздной публики.

Я подошелъ къ воротамъ посольства, облюбовалъ молодого человѣка въ военной шинели безъ погона, подошелъ, попросилъ прикурить и прямо приступилъ къ дѣлу.

— Бывали вы когда нибудь у хироманта?—спросилъ я.

— Не бывалъ. А что?

— Вы сейчасъ ничего не дѣлаете?

— Буквально ничего. Третій мѣсяцъ ищу работы.

— Такъ пойдемъ къ хироманту. Это будетъ стоить двѣ лиры.

— Что вы, милый! Двѣ лиры!!! Откуда я ихъ возьму? У меня нѣтъ и 15 піастровъ.

— Чудакъ вы! Не вы будете платить, а я вамъ заплачу за беспокойство двѣ лиры. Только при условіи: чтобъ я присутствовалъ при гаданіи!

Молодой человѣкъ зарумянился, неизвѣстно почему помялся, огляделъ свои руки, вздохнулъ и сказалъ:

— Ну, что-жъ... Пойдемъ.

Хиромантъ принялъ насъ очень любезно:

— Хиромантія,—привѣтливо заявилъ онъ,—очень точная наука. Это не то что какія нибудь тамъ бобы, или кофейная гуша. Садитесь.

На столѣ лежалъ человѣческій черепъ.

Я приблизился, безцѣльно потыкалъ пальцемъ въ пустую глазницу и разсѣянно спросилъ:

— Вашъ черепъ?

— Конечно, мой. А то чей же.

— Очень симпатичное лицо. Обаятельная улыбка. Скажите онъ вамъ служитъ для практическихъ цѣлей или просто, какъ изящная бездѣлушка?

— Помилуйте! Это черепъ одного халдейскаго мага изъ Мемфиса.

— Да вы говорите—вашъ. Впрочемъ, дѣло не въ этомъ. Погадайте-ка сему молодому человѣку.

Мой новый знакомый застѣнчиво протянулъ хироманту правую руку, но тотъ отстранилъ ее и сказалъ:

— Лѣвую.

— Да развѣ не все равно, что правая, что лѣвая?

— Отнюдь. Исключительно по лѣвой рукѣ. И такъ вотъ передо мной ваша лѣвая рука... Ну, что жъ я вамъ скажу?.. Вамъ 52 года...

— Будетъ. (Мягко возразилъ мой „патриціанскій рабъ“). Пока только 24.

— Вы ошибаетесь. Вотъ эта линія показываетъ, что вамъ уже немного за пятьесятъ. Затѣмъ проживете вы до... до... Чортъ знаетъ, что такое?!

— А что?—заинтересовался я.

— Никогда я не видѣлъ болѣе удивительной руки и болѣе замѣчательной судьбы. Знаете ли, до какихъ поръ вы доживете, судя по этой совершенно безспорной линіи?!

— Ну?

— До двухсотъ сорока лѣтъ!!

— Порядочно!—завистливо крякнулъ я.

— Не ошибаетесь ли вы?—медовыемъ голосомъ замѣтилъ обладатель удивительной руки.

— Я голову готовъ прозакладывать!

Онъ наклонился надъ рукой еще ниже.

— Нѣтъ; эти линіи!!! Что-то изъ ряда вонъ выхodящее!!! Вотъ смотрите—сюда и сюда. Въ недалекомъ прошломъ вы занимали послѣдовательно два королевскихъ престола—одинъ около 30 лѣтъ, другой около сорока.

— Позвольте, — робко возразила коронованная особа.—40 и 30 лѣтъ—это уже 70. А вы говорили, что мнѣ и всего-то 52.

— Я не знаю, ничего не знаю,—въ отчаяніи кричалъ хиромантъ, хватаясь за голову.—Это первый случай въ моей пятнадцатилѣтней практикѣ! Ваша проклятая рука меня съ ума сведетъ!!

Онъ рухнулъ въ кресло, и голова его безсильно упала на столъ рядомъ съ халдейскимъ черепомъ.

— А что случилось?—участливо спросилъ я.

— Да то и случилось,—со стономъ вскричалъ хиромантъ,—что когда этотъ господинъ сидѣлъ на первомъ тронѣ, то онъ былъ умерщвленъ заговорщиками!! Тутъ самъ чортъ ничего не разберетъ! Умерщвленъ, а сидѣть. Разговариваетъ!!! Привели вы мнѣ клиента—нечего сказать!!

— Были вы умерщвлены на первомъ тронѣ?—строго спросилъ я.

— Ей Богу, нѣтъ. Видите ли... Я служилъ капитаномъ въ Марковскомъ полку, а что-же касается престола...

— Да вѣдь эта линія—вотъ она!—въ бѣшенствѣ вскричалъ хиромантъ, тыча карандашомъ въ мирную капитанскую ладонь.—Вотъ одинъ престолъ, вотъ другой престолъ! А это вотъ что? Что это? Ясно: умерщвленъ чужими руками!

— Да вы не волнуйтесь,—примирительно сказалъ я.—Вы же сами говорили, что Его Величество проживетъ 240 лѣтъ. Чего жъ тутъ тревожиться по пустякамъ? Вы лучше поглядите, когда и отъ чего онъ умретъ по настоящему, такъ сказать—начисто.

— Отъ чего онъ умретъ?.. Позвольте-ка вашу руку...

Хиромантъ ястребинымъ взглядомъ впился въ капитанскую ладонь, и снова испугъ ясно отразился на его лицѣ.

— Ну, что?—нетерпѣливо спросилъ я.

— Я такъ и думалъ, что будетъ какая-нибудь гадость,—въ отчаяніи застоналъ хиромантъ.

— Именно?

— Вы знаете, отъ чего онъ умретъ? Отъ родовъ. Мы на минуту оѣпенѣли.

— Не ошибаетесь ли вы? Если принять во вниманіе его полъ, а также тотъ преклонный возрастъ, который...

— «Который, который!!» Ничего не который! Я

не мальчишка, чтобы меня дурачить и вы не мальчишка, чтобы я вамъ могъ врать. Я честно говорю только то, что вижу, а вижу я такое, что и этого молодого человѣка и меня нужно отправить въ сумасшедшій домъ!! Это самъ дьяволъ написалъ на вашей ладони эти Антихристовы письмена!!

— Ну, ужъ и дьяволъ,—смущенно пробормоталъ молодой человѣкъ—Это считается одной изъ самыхъ солидныхъ фирмъ: Кнаусъ и Генкельманъ, Берлинъ Фридрихштрассе, 345.

Мы оба выпустили на него глаза.

— Господа, не сердитесь на меня... Но вѣдь я же вамъ давалъ сначала правую руку, а вы не захотѣли. А лѣвая, конечно... Я и самъ не знаю, что они на ней вытиеснули...

— Кто-о?—взревѣлъ хиромантъ.

— Опять же Кнаусъ и Генкельманъ, Берлинъ, Фридрихштрассе, 345. Видите ли, когда мнѣ подѣ Первозвановкой оторвало кисть лѣвой руки, то мой дядя, который жилъ въ Берлинѣ, какъ представитель фабрики искусственныхъ конеч...

Черепъ халдейскаго мудреца пролетѣлъ мимо моего плеча и, кляцнувъ зубами, зацѣпился челюстью за шинель капитана. За черепомъ полетѣли двѣ восковыхъ свѣчи и какая-то древняя книга, обтянутая свиной кожей.

— Бѣжимъ,—шепнуль я капитану.—А то онъ такъ озвѣрѣлъ, что убить можетъ.

Бѣжали, схватившись за руки по узкому грязному переулку. Отдышались.

— Легко отдѣвались,—одобрительно засмѣялся я.—Скажите, кой чортъ поддѣлъ васъ не признатъ сразу, что ваша лѣвая лапа резиновая, какъ калоша «Проводникъ»?

— Да я, собственно, боялся потерять двѣ лиры. Вы знаете, когда пять дней подрядъ питаешься одними бубликами... А теперь, конечно, я самъ понимаю, что ухнули мои двѣ лирошки.

— Ну, нѣтъ,—великодушно сказалъ я.—Вамъ

Ваше Величество, еще 215 лѣтъ жить осталось, такъ ужъ денежки-то ой-ой какъ нужны. Получайте.

Встрѣтилъ даму. Ту ^{*} _{*} самую.

— Ну, что были?

— Конечно, былъ. Авансы отработалъ честно.

— Ну что же,—съ лихорадочнымъ любопытствомъ спросила она.—Что же онъ вамъ сказалъ?

— А вы вѣрите всему, что они предсказываютъ? —лукаво спросилъ я.

— Ну, конечно.

— Такъ онъ сказалъ, что съ васъ причитается еще цѣлый ворохъ поцѣлуевъ.

До чего эти женщины суевѣрны, до чего довѣрчивы.



IX.

Лотто-Тамбола

Оглянитесь назадъ, на дѣтство: вы вспомните, что въ каждомъ изъ училищъ, въ каждой гимназіи—была такая неожиданно вспыхивающая эпидемія: вдругъ—игра въ перья! И всѣ мальчишки, всѣ классы съ головой уходятъ въ дурацкую игру, ходятъ, какъ пьяные, учебники плѣсневѣютъ, въ журналахъ стройнымъ частоколомъ вытягивается рядъ единицъ... Но однажды во время разгара игры въ перья, кто-то разжевавъ резинку, на что ушла добрая половина дня—надулъ воздухомъ разжеванную массу и причудливо щелкнулъ ею. И вдругъ—первая эпидемія (игра въ перья) сразу, какъ по мановенію золотого жезла, прекратилась, перья потеряли всякий интересъ, и крупные держатели этихъ, казалось бы, абсолютныхъ цѣнностей—сразу потерпѣли крахъ...

И, вмѣсто перьевъ,—цѣлые ряды безмолвно сидящихъ за партами мальчишечъ, съ дурацки-благоговѣйными лицами, съ выпущенными отъ напряженія глазами, съ механически, какъ машина, двигающимися челюстями... Это—весь классъ заболѣлъ новой эпидеміей. Это—весь классъ жуе резину изъ-за сомнительного наслажденія одинъ разъ щелкнуть ею.

* * *

Лица людей играющихъ въ лотто, напоминаютъ мнѣ физіономіи мальчишечъ, жующихъ цѣлыми частями резину, чтобы одинъ разъ щелкнуть ею.

Прикодилось мнѣ видѣть всякія дурацкія игры,

но такой идіотски-безсмысленной, какъ лотто—цѣлый годъ ломай голову—не придумаешь.

Въ чемъ, собственно, дѣло? Какъ начинается лотто?

Идетъ оборотистый человѣкъ по улицѣ. Всматривается въ выраженіе лицъ прохожихъ, и приходитъ ему въ голову мысль:

— А вѣдь почти ни одного умнаго одухотворенаго лица. Общая печать скудоумія и недомыслія... Надо имъ, канальямъ, лотто устроить. Пусть играютъ; самая игра для нихъ подходящая.

Тутъ же снимаетъ пустое помѣщеніе, вѣшаетъ вывеску, ставитъ обдирательный аппаратъ, нанимаетъ волильщика и говорить:

— Ну, вы... гуси лапчатые! Идите, обдирать васъ буду.

И сразу фабрика начинаетъ работать; публика съ физіономіями, какъ стертыя пятаки, втискивается въ помѣщеніе обдирательный аппаратъ съ грохотомъ кружится, волильщикъ волить, а хозяинъ ходить отъ одного къ другому и у всѣхъ отбираетъ деньги.

Дураковая психологія постигнута въ совершенствѣ: если у дурака просто отнять деньги—онъ будетъ плакать и стонать, а если ему посулить, что онъ на свои три лиры проигрыша можетъ получить сорокъ лиръ выигрыша—дураковый взглядъ заискрится, заблестаетъ, откроетъ дуракъ свой кругленѣкій ротикъ и примется напряженно слѣдить по куску картона, на которомъ натыканы безъ всякаго смысла и толку цифры—примется слѣдить: не выиграетъ ли?

И сидитъ онъ такъ за кускомъ картона часть, три, десять—все свое свободное и несвободное время убухиваетъ на разсмотріваніе унылаго безкрасочнаго куска картона...

А попробуйте сказать дураку:

— Что ты сидишь зря, Васенька? Пошелъ бы домой, спать...

— Нѣтъ, скажетъ, это очень выгодно: позавчера Иванъ Вахрамѣичъ поставилъ лиру, а отхватилъ сразу девять пятьдесятъ!

Легенда ѿбъ Иванъ-Вахрамѣичѣ поддерживаетъ въ немъ радужныя надежды, а хозяину только этого и надо... То и дѣло подходитъ:

— Съ васъ полтиничекъ.

Будь я самъ хозяиномъ и имѣй я дѣло не съ дураками, а съ умными людьми, я просто и честно предложилъ бы имъ:

— Вотъ вы пришли играть въ лотто... Внѣсите вы дѣнъги, а я изъ нихъ каждый разъ забираю 20 процентовъ. Пять игръ сыграете,—всѣ ваши денежки у меня. Предположимъ, по десяти разъ каждый изъ васъ слазить въ карманъ за деньгами и отдастъ ихъ мнѣ всѣ... Такъ не лучше ли, не проще ли, сдѣлаемъ такъ: вы будете каждый день собираться у меня къциальному часу, отадите всѣ свои деньги, я изъ нихъ выдѣлю процентовъ 30, вы ихъ по жребію подѣлите между собой, какъ выигрышъ—и ступайте домой. И никакого лотто вамъ ний нужно, не нужно торчать въ душной и закуренной комнатѣ и до ряби въ глазахъ плятиться на картонную бумажку съ безсмысленными цифрами .. Времени-то сколько сохранится, а?..

Предложи я такую комбинацію—никто на нее не пойдетъ; и въ то же время всѣ дѣлаютъ то же самое —только что больше времени тратится, да лицо послѣ игры пріобрѣтаетъ одеревенѣлое выраженіе ободранной грабителями муміи изъ гробницы Фараона: видимость человѣка есть, а внутри все пусто.

* * *

Недавно союзная полиція закрыла всѣ лотто.
Но...

Видѣли-ли вы когда-нибудь, какъ на тоскливомъ черномъ пожарищѣ вдругъ начинаетъ пробиваться молодая зеленая травка?...

Встрѣчаю пріятеля:

— Видѣли, какъ тараканы бѣгаютъ?

— А что?

— Тутъ въ одномъ домѣ тараканы бѣгаютъ.

— Эва, нашли рѣдкость! Я въ Россіи сотни домовъ видѣлъ, гдѣ тараканы бѣгаютъ!

— Вы не понимаете! Тутъ устроены тараканы

бѣга. Есть стартъ, тотализаторъ, цвѣта жокеевъ и бѣгутъ живые тараканы. Масса народу собирается играть. Есть вѣрные тараканы! Фавориты!!!

* * *

О, богъ азарта—великий богъ.

Отнимите у человѣка карты—онъ устроитъ лотто; отнимите лотто—онъ зубами уѣпится за таракана; отнимите таракана, онъ...

Да что тамъ говорить: я однажды видѣлъ на скамейкѣ Лѣтняго сада няньку съ ребенкомъ на рукахъ. Она задумчиво выдергивала у него волосикъ за волосикомъ и гадала: „Любитъ—не любитъ! Любить—не любить“.

Это былъ азартъ любви, той любви, которая можетъ лишить волосъ даже незаинтересованную сторону...



Х.

О гробахъ, тараканахъ и пустыхъ внутри бабахъ.

Какъ-то давно, давно мнѣ рассказали забавный анекдотъ...

Одинъ еврей, не имѣвшій права жительства, пришелъ къ царю и говоритъ:

— Ваше величество! Дайте мнѣ, пожалуйста, право жительства!

— Но вѣдь ты же знаешь, что правомъ жительства могутъ пользоваться только ремесленники.

— Ну, такъ я ремесленникъ.

— Какой же ты ремесленникъ? Что ты умѣешь дѣлать?

— Уксусъ умѣю дѣлать.

— Подумаешь, какое ремесло,—усмѣхнулся скептически Государь,—это и я умѣю дѣлать уксусъ.

— И вы умѣете? Ну, такъ вы тоже будете имѣть право жительства!

Прошли идиллическія времена, когда рождались подобные анекдоты: настали такія времена, когда не только скромные фабриканты уксуса, но и могущественные короли—не имѣютъ права жительства...

Нѣкоторое исключение представляетъ собой Константинополь: человѣкъ, который умѣетъ дѣлать уксусъ, здѣсь не пропадетъ. Искусство „дѣлать уксусъ“ въ той или другой формѣ—все таки, даетъ право на жизнь.

Вотъ моя встрѣча съ такими „ремесленниками, имѣющими право жительства“, неунывающими, мужественными дѣлателями „уксуса“.

* * *

Они сидѣли рядышкомъ на скамейкѣ въ саду Пти-Шанъ и дышали теплымъ весеннимъ воздухомъ—бывшій журналистъ, бывшій поэтъ и бывш... чуть, по привычкѣ не сказалъ—бывшая сестра журналиста... Нѣтъ, сестра журналиста была настоящая... Дама большой красоты, изящества и самаго тонкаго шарма...

Всѣмъ тремъ я искренно обрадовался, и они очень обрадовались мнѣ.

— Здорово, ребята!—привѣтствовалъ я эту тройку.—Что подѣлываете въ Константинополѣ?

Всѣ трое переглянулись и засмѣялись:

— Что мы подѣлываемъ? Да вы не поймете, если мы скажемъ...

— Я не пойму? Да нѣтъ на свѣтѣ профессіи, которой бы я не понялъ!

— Я, напримѣръ,—сказалъ журналистъ,—лежу въ гробу.

— А я,—подхватилъ поэтъ,—хожу въ женщины.

— А я—дѣловито заявила журналистова сестра, —состою при зеленомъ тараканѣ.

— Всѣ три ремесла немного странныя,—призадумался я.—Дѣлать уксусъ гораздо легче. Кой чортъ, напримѣръ, занесъ васъ въ гробъ?..

— Одна гадалка принаняла. У нея оккультный кабинетъ: лежу въ гробу и отвѣчаю на вопросы клиентовъ. Правда, отвѣты мои глубиной и остроуміемъ не блещутъ, но все же они неизмѣримо выше идіотскихъ вопросовъ клиентовъ.

— А вотъ вы... который „ходитъ въ женщины“. Какимъ вѣтромъ васъ туда занесло?

— Не вѣтромъ, а голодомъ. Огромная баба изъ картона и коленкора. Я влѣзаю внутрь и начинаю бродить по Перѣ, неся на себѣ это чудовище, въ лапахъ котораго красуется реклама одного ресторана.

— Поистинѣ,—сказалъ я,—ваши профессіи изумительны, но онѣ блѣднѣютъ передъ карьерой Ольги Платоновны, состоящей при зеленомъ тараканѣ!

— Смѣйтесь, смѣйтесь. Однако, зеленый тараканъ меня кормитъ. Собственно онъ не зеленый, а

коричневый, но цвѣта пробочного жокея, котораго онъ несетъ на себѣ—зеленые. И, потому я обязана имѣть на правомъ плечѣ большой зеленый бантъ: цвѣтъ моего таракана. Да что вы такъ смотрите? Просто здѣсь устроены тараканы бѣга и вотъ я служу на записи въ тараканій тотализаторъ. Просто, кажется?

— Очень. Все просто. Одинъ въ гробу лежитъ, другой въ бабѣ ходитъ, третья—при тараканѣ состоится.

Отошелъ я отъ нихъ и подумалъ:

— Ой, крѣпокъ еще русскій человѣкъ, ежели ни гробъ его не беретъ, ни карнавальное чучело не пугаетъ, ежели простой тараканъ его кормить...

Это одна сторона—прекрасная сторона—русскаго характера...

А вотъ другая сторона:

XI.

Еще гробъ.

Иногда—ни съ того, ни съ сего—накатываетъ такое веселое радостное настроение, что ходишь внутренно подпрыгивая, какъ козленокъ, что хочется весь міръ обнять, что внутри—будто цѣлая стая воробьевъ щебечетъ.

Въ такія минуты любо безпричинно бродить по улицамъ, обращая умиленное вниманіе на всякий пустякъ, попадающій въ поле зрѣнія: на турка, изступленно выкрывающаго свой товаръ; на дѣловитаго грека, бѣгущаго изъ харчевни съ тарелочкой, на которой —горсточка варенаго риса, возглавленнаго крохотнымъ кусочкомъ баранины; на фотографическую витрину съ усатыми, толстоногими гречанками, любящими сниматься непременно у фальшиваго бутафорскаго рояля или около бѣлой картонной лошади, шея которой обвивается топорной рукой самымъ шаловливымъ и грязіознымъ образомъ—все привлекаетъ праздное благодушное вниманіе, все заставляетъ или мимолетна усмѣхнуться или мимолетно задуматься...

Въ такомъ безоблачномъ настроеніи любо зайти въ свѣтлый чистенький ресторанчикъ, проглотить кружку холоднаго пива и уничтожить какую нибудь отбивную котлету, бродя разсѣянно глазами по вѣчному портрету Венизелоса на стѣнѣ, обильно засиженному мухами, и по разложеннымъ листамъ бумаги отъ мухъ, дѣвственно чистымъ—на зависть облюбованному летучей арміѣ Венизелосу.

Недавно—зашелъ я въ такомъ бодромъ искрящемся настроеніи въ ресторанчикъ, усѣлся за столъ; подошла очеъ недурная собой русская дама и, сдѣлавъ независимое лицо аристократки временъ французской революціи, ведомой на гильотину — кротко спросила:

— Чего вы хотите?

— Обнять весь міръ,—искренно отвѣтилъ я, еле сдерживая бурлящую внутри молодую радость жизни.

— Отчего всѣ мужчины думаютъ—грустно сказала дама,—что если мы служимъ здѣсь кельнершами, то намъ можно дѣлать всякия предложенія...

Я завѣрилъ ее, что въ отношеніи къ ней лично —у меня нѣтъ никакихъ агрессивныхъ плановъ и заказалъ телячью котлету и пиво.

— Салату желаете?—освѣдомилась она такимъ душераздирающимъ тономъ, будто спрашивала: сейчасъ меня будете разстрѣливать или потомъ?

— О, да! Украсьте салатомъ мою сиротливую жизнь,—игриво отвѣчалъ я, желая немножко развлечь ее.—Вы, навѣрное, бѣженка?

— Ахъ, и не говорите. Сейчасъ принесу пиво, а потомъ котлету.

Когда она вернулась, я сказалъ ей:

— Если вамъ не скучно, посидите со мной, поболтаемъ.

— Не скучно! А какое, спрашивается, веселье?.. Чему радоваться? Ахъ, вы знаете—раньше у меня были свои лошади, я пріемы дѣлала, а теперь... ботинокъ не на что купить.

Я отхлебнулъ пива. Оно показалось мнѣ горьковатымъ,

— Сестра лежитъ съ ангиной. Хозяева дома гре-ки, оскорбляютъ, потому что мы русскіе...

Я сдѣлалъ второй глотокъ. Пиво какъ будто сдѣлалось еще горчее.

— Ничего. Дасть Богъ, все уладится. Опять будемъ жить хорошо.

— Не вѣрю я. Ни во что не вѣрю. Навѣрное, скоро всѣ перемремъ. Мужъ въ Совдепіи остался. Навѣрное, убили.

Отхлебнулъ, опустивъ голову.

Рѣшительно, чортъ ихъ возьми, пивные заводы
стали беззастѣнчиво прибавлять желчъ въ пиво.

— А, можетъ, мужъ и живъ,—утѣшилъ я.

— А если и живъ—такъ съ голоду умеръ.

Я сочувственно покачалъ головой, отломилъ под-
жаренную хрустящую корочку булки и, посоливъ, по-
ложилъ ротъ.

— Гм... Вотъ бѣлый хлѣбъ,—со стономъ замѣ-
тила кельнерша.—У насъ тутъ его сколько угодно,
бѣлого мягкаго свѣжаго, а тамъ сѣрый, какъ глина,
со щепочками, съ полбвой, со жмыхами. Да если бы
этакую порцію туда перенести—такъ хватило бы на
четырехъ человѣкъ. Да и рыдали бы, пережевывая.

Все это было совершенно справедливо, но поче-
му деревцо за окномъ вяло опустило вѣтки, портрѣтъ
Венизелоса скривился на сторону, солнечное пятно на
стѣнѣ погасло, и прожеванный кусочекъ хлѣба ни-
какъ не хотѣлъ, несмотря на мои судорожныя уси-
лія—проскочить въ горло... Я облилъ его глоткомъ пи-
ва вкуса хины, мучительно улыбнулся и замѣтилъ:

— Но вѣдь если я сейчасъ не буду ъѣсть этого
хлѣба—я имъ этимъ не помогу?..

— Имъ уже ничто не поможетъ. Какъ мучаются!
Какъ мучаются! Отъ голода распухаетъ лицо и все
тѣло покрывается кровоточащими струпьями...

Она встала и пошла за котлетой.

Котлета оказалась на рѣдкость—сочная, въ су-
харикахъ, съ картошечкой, нарѣзанной этакими стол-
биками.

Я отрѣзalъ кусъ, мазнулъ горчицей и увѣнчалъ
кусочкомъ огурца.

— Я читала, что отъ голода шея начинаетъ пух-
нуть и гнить. Отчего бы это?

— Не знаю, отчего,—угрюмо промолвилъ я.

Мнѣ показалось, что кусочекъ котлеты на вилкѣ
покраснѣлъ, распухъ и въ немъ что-то зашевелилось...

— Да... Вотъ вы, напримѣръ, можете себѣ поз-
волить здѣсь удовольствіе—сѣѣсть двѣ или три жаре-
ныхъ котлеты, а тамъ даже дровъ нѣтъ, чтобы сва-
рить головку ржавой селедки...

Ахъ, какъ все это было справедливо!.. Но котлета, покоробилась, съежилась и сдѣлалась вялой, неаппетитной...

— Дайте счѣтъ,—со вздохомъ попросилъ я.

Она черкнула что-то въ книжечкѣ, сардонически улыбаясь:

— Иногда пишешь счѣтъ, да какъ вспомнишь, чѣмъ была раньшѣ, какъ роскошно жила—такъ слезы и застилаютъ глаза: цифръ даже не вижу...

— Просите,—пробормоталъ я.

— Куда жъ вы такъ скоро?

— Пойти на кладбище, что ли, повѣситься.

— Да ужъ теперь это только и остается,—съ готовностью одобрила она.

* * *

Вчера снова накатило на меня такое бодрое бурливое настроеніе. Я шелъ по улицѣ, чуть не приплясывая, и, наконецъ, рѣшилъ:

— Не зайти ли въ ресторанчикъ?.. Только—дудки! Въ тотъ ужъ не пойду. Эта милая дѣвушка снова доведетъ меня до логической мысли привязаться вевревкой за шею къ периламъ Галатскаго моста да и спрыгнуть внизъ...

Поэтому я, насвистывая нѣчто мелодичное, вошелъ въ другой ресторанъ и... первое на что я наткнулся—была та давицкая кельнерша.

— Вы... Здѣсь?—оторопѣлъ я.

— Да... Садитесь. Представьте, мнѣ тотъ хозяинъ отказалъ. Вы, говорить, не умеете обращаться съ публикой... А я ужъ, можно сказать, всякаго, какъ родного, встрѣчаю. Все что есть на душѣ—все выложишь. Что будете кушать? А у сестрицы, представьте, кромѣ ангины еще и дезинтерія... Несчастье за несчастьемъ... Садитесь! Куда жъ вы?!

— — —

XII.

Благородная дѣвушка.

Самымъ серьезнымъ человѣкомъ въ свѣтѣ я считаю своего друга Степана Фоліантова.

Даже въ имени его и фамиліи—есть что-то солидное, несокрушимое...

Поэтому я имѣлъ полное право окаменѣть отъ изумленія, когда однимъ весеннимъ вечеромъ онъ, какъ экваторіальная буря, ворвался ко мнѣ и сообщилъ, изнемогая на каждомъ слогѣ:

— Ну, конецъ, братъ! Поздравь меня—я влюбленъ.

Если бы дьяконъ соборной церкви остригъ волосы, вымазалъ лицо жженой пробкой и, надѣвъ красивый фракъ, выступилъ бы въ кафе-концертѣ на эстрадѣ, въ качествѣ негра, исполняющаго ки-ка-пу—это было бы болѣе подходяще, чѣмъ то, что сообщилъ мнѣ Фоліантовъ.

— С ума ты сошелъ?—недовѣрчиво ахнулъ я.

— Ну, конечно! Я обѣ этомъ же и говорю. Ахъ, какая женщина! Понимаешь: ручки, ножки и губки такія маленькія, что... что...

— Что ихъ совсѣмъ не видно?—подсказалъ я.

— А?.. Ну, это ты ужъ хватилъ. Нѣтъ, ихъ видно, но онѣ просто крохотныя. А глаза, наоборотъ, такие огромные, что...

— Что занимаютъ территорію всего лица!?

— А? Ну, ты скажешь тоже. Просто огромные глаза. И красивые до безобразія!.. Носикъ...

— Выпей вина и расскажи лучше о характерѣ.
 — Характеръ? Ангельскій. Безкорыстіе? Дьявольское! Достаточно сказать, что когда мы бываемъ въ кафе—она всегда платитъ свою треть. Идемъ въ театры—она за билеты платить треть. Садимся на извозчика...

— Почему же такая странная дробь—треть?

— А братъ же съ нами всегда.

— Чей?

— Странный вопросъ: ея! Онъ ко мнѣ очень привязался... Свѣтлая личность! Бываемъ втроемъ. Ой, опоздалъ! Уже ждутъ.

И умчался этотъ странный Фоліантовъ—такъ же бурно, какъ и появился.

* * *

На другой день появился, разстроенный.

— Выгнала.

— Вотъ тебѣ разъ. За что?

— Я сдуру предложилъ денегъ. У нихъ вѣдь не густо. И братъ кричалъ тоже. Обидѣлся. Вотъ тебѣ и Константинополь! А говорятъ—городъ продажныхъ женщинъ и торгующихъ женщинами мужчинъ.

Онъ вынулъ портретъ прехорошенькой дѣвушки и принялъся жадно цѣловать его.

— Дай и я поцѣлую,—попросилъ я, глубоко растроганный.

— На. Ты ее тоже полюбишь, когда узнаешь.

Мы долго по очереди цѣловали портретъ и потомъ сидѣли, глядя другъ на друга со слезами на глазахъ...

— Ты, навѣрное, грубо предложилъ ей деньги,—укоризненно сказалъ я.—Вотъ она тебя и выгнала.—А ты сдѣлай какънибудь деликатнѣе...

— Ну? Какъ же?

— Выдай ей вексель на круглую сумму и объясни, что всѣ мы, молъ, подъ Богомъ ходимъ, что мало ли что можетъ случиться, и что если ты умрешь, для тебя будетъ невыносимой мысль, что любимый человѣкъ бѣдствуетъ. Сколько ты ей, дурья голова, предложилъ?

— 500 лиръ.

— Ну, вотъ и напиши на эту сумму. Да вложи въ коробку съ шоколадомъ. Все-таки, вексель въ шоколадѣ—это не грубыя материальныя деньги въ ку-лакѣ.

— А если совсѣмъ выгонитъ?

— Въ Константинополь-то? Не выгонитъ.

Умчался Фоліантовъ.

* * *

Примчался Фоліантовъ:

— Что было! Слезы, истерика. «Такъ ты, говорить, думаешь, что я тебя изъ за денегъ люблю?!. Уходи!» Два часа на колѣнкахъ стоялъ. Сказалъ, что если не возьметъ—пойду и утоплюсь въ Босфорѣ. Она страшно испугалась, заплакала еще разъ и взяла. Просила только брату не говорить.

— Вотъ видишь, какъ все хорошо.

Черезъ два дня случилось происшествіе, которое потрясло не только Фоліантона, но и меня.

— Понимаешь, разсказывалъ онъ.—Все началось изъ-за того, что въ театрѣ она на кого-то посмотрѣла, а я приревновалъ... Вернулись къ ней домой, я наговорилъ ей разныхъ словъ и, въ концѣ концовъ, сказалъ, что она меня совершенно не любитъ. Она заплакала, потомъ спросила: «значить, выходитъ, если я тебя не люблю, то встрѣчаюсь съ тобой только изъ за материальныхъ интересовъ?! Такъ смотри же!» Вскочила, вынула изъ шкатулки мой злополучный вексель, порвала на клочки и бросила къ моимъ ногамъ.

Я ахнулъ:

— Вотъ это женщина! Прямо таки, Настасья Филиповна изъ «Идіота»!.. Что жъ ты думаешьъ теперь дѣлать?

— Написалъ уже другой. Такъ или иначе—всучу ей.

— Вотъ тебѣ и Константинополь...—покачалъ я головой.—Встрѣчусь съ ней—въ ножки поклонюсь.

Мы оба сіяли, какъ солнце. Два солнца въ одной комнатѣ—это была рѣдкая астрономическая комбинація.

* * *

— Помирились! — радостно крикнулъ мнѣ съ извозчика Фоліантовъ. — Уговориль принять новый. Ну, характеръ же! Порохъ.

На Перѣ когда одинъ человѣкъ ёдетъ на извозчикѣ, а другой плетется по мостовой — трудно разговаривать. Потому я не добился подробностей.

Но на другой день произошли новыя событія.

— Это огонь, а не женщина, — кричалъ мнѣ съ порога Фоліонтовъ. — Теперь уже не я ее, а она меня приревновала!..

— Ну, и...

— И порвала въ клочья второй вексель!

— Третій дай! — кричалъ я въ экстазѣ.

* * *

Съ тѣхъ поръ событія приняли, болѣе или менѣе ритмичный характеръ...

При малѣйшемъ поводѣ эта странная безкорыстная дѣвушка, выхватывала изъ шкатулки пошлѣйший документъ моего друга и тутъ же въ бѣшенствѣ ревности или незаслуженной обиды — разрывала его въ мелкіе клочья.

Другъ прибѣгалъ ко мнѣ, мы оба долго сидѣли, растроганные, а потомъ, какъ два упорныхъ осла, рѣшили, что это — дѣвушкѣ не поможетъ: она, всеравно, получить новый вексель...

Я помню точно: эта борьба великодушій случалась ровно шесть разъ: шесть векселей было подписано, шесть было выхвачено изъ шкатулки, шесть, въ безумномъ порывѣ было разорвано на глазахъ друга, шесть разъ мы, растроганные, тихо плакали на груди другъ у друга...

* * *

А сегодня мой другъ Фоліантовъ явился такимъ разстроеннымъ, какимъ я его никогда не видѣлъ.

— Шестой изорвала? — догадался я.

Онъ сидѣлъ, молча, яростно покусывая головку трости.

— Что жъ ты молчишь?.. Какъ поживаетъ нашъ цвѣточекъ, наше ясное солнышко?..

— Чтобы оно лопнуло, это твое солнышко!—заревѣлъ мой другъ, стуча тростью по дивану, какъ по злѣйшему врагу.—Если бы эту кобылу повѣсили—я съ удовольствиемъ далъ бы намыленную веревку!..

— Послушай, Фолантовъ... Есть такія границы, которыя...

— Нѣты! Нѣть никакихъ границъ — понимаешь ты это?! За что я теперь долженъ платить три тысячи лиръ или садиться въ тюрьму?! А?

— Опомнишь, какія три тысячи?!

— Да по векселямъ, которыя я, по твоему же совѣту, на колѣнкахъ преподносилъ этой жадной константинопольской собакѣ?!

— Постой, постой... Обѣ осталъномъ я пока не спрашиваю... Но у нея же былъ только одинъ твой вексель?..

— Чорта-съ-два! Всѣ шесть—цѣлехоньки.

— Да вѣдь она же ихъ рвала?

— Поддѣльные рвала! Этотъ ея альфонсъ и поддѣльвалъ подъ мой почеркъ.

— Свѣтлая личность?! Ея братъ?!

— Братъ?! Такой же онъ ей братъ, какъ ты мнѣ падчерица! Полетѣлъ я къ ней объясняться, а онъ выходитъ и говоритъ: „Если вы не оставите въ по-коѣ мою жену и не прекратите преслѣдоватъ ее своей любовью—я заявлю въ англійскую полицію!“—„А мои векселя?“—„Это ваши личныя коммерческія отношенія—меня они не касаются. Если вы ей дали шесть векселей за проданную вамъ каустическую соду или подошвенную кожу—кому какое до этого дѣло? Вѣдь подпись на векселяхъ ваша?“ А?! какъ тебѣ это понравится? каустическая сода!! подошвенная кожа?!

— Признаться,—примирительно сказалъ я,—во всей этой исторіи я не узнавалъ до сихъ поръ Константина, и это меня втайнѣ немножко тревожило. Теперь я снова узнаю его неизмѣняемое вѣчное лицо, и это меня успокаиваетъ.

— То есть?!

— Разъ дѣвушка оказалась не дѣвушкой, братъ—не братомъ, порванные векселя—не порванными и лю-

бовь—не любовью, а подошвеннымъ товаромъ—все въ
полномъ порядкѣ... Привѣтствую тебя, старый измож-
денный развратный мошенникъ—Константинополь!

— А какъ же векселя?..
— Есть деньги?
— Послѣдніе три тысячи было. Кое-какъ на-
кребу.
— Плати. Тамъ заранѣе разсчитано.

— ~~sec~~ —

XIII.

Русские въ Византии.

Этотъ осколокъ константинопольской жизни мнѣ хочется написать въ благодарной формѣ исторического романа—такъ онъ красоченъ...

* * *

Стояло ясное погожее утро лѣта 1921 года.
Впрочемъ, нѣтъ. Стоялъ вечеръ.

Авторъ начинаетъ съ утра только потому, что вѣсѣ русскіе историческіе романы начинаются этой фразой.

А на самомъ дѣлѣ стоялъ вечеръ, когда произошла завязка этого правдиваго бытового романа.

Графъ Безуховъ, не доложившись, неожиданно вошелъ въ комнату жены и засталъ послѣднюю (она же была у него и первая)—въ объятіяхъ своего друга князя Болконскаго.

Произошла ужасная сцена.

— Милостивый государь!—вскричалъ взбѣшенный мужъ.

— Милостивый государь?

— Вы знаете, что вами оскверненъ мой семейный очагъ!?

— Здѣсь дама, прошу васъ не возвышать голоса. Оретъ, самъ не знаетъ, чего.

Закусивъ нижнюю губу, блѣдный графъ, молча, сдернулъ со своей руки перчатку, сдѣлалъ два шага по направленію къ князю и бросилъ перчатку прямо въ лицо врагу.

— Надѣюсь, вы понимаете, что это значитъ?!--
угрюмо сказалъ онъ.

— Готовъ къ услугамъ, — холодно поклонился
князь Болконскій.

Мои секунданты будутъ у васъ въ 10 часовъ
утра.

— Хоть въ 9,—съ достоинствомъ отвѣтилъ князь,
отыскивая свою шляпу.

* * *

По соглашенню сторонъ, поединокъ рѣшенъ былъ
на завтра, на дуэльныхъ пистолетахъ.

Выработавъ всѣ условія и подробности, секун-
дантъ графа полковникъ Н., спросилъ у княжескаго
секунданта гусарскаго корнета Ростова:

— Теперь—послѣдній вопросъ: у вашего довѣри-
теля есть дуэльные пистолеты?

— Никакихъ нѣтъ.

— Откуда, голубчикъ? я изъ Севастополя эва-
куировался съ маленькимъ ручнымъ чемоданчикомъ...
До дуэльныхъ ли тутъ пистолетовъ!

— И у моего нѣту. Что жъ теперь дѣлать? Нель-
зя ли у кого нибудь попросить на время? Напримѣръ,
у барона Берга?..

— Нашли у кого просить! Баронъ на Перѣ „те-
щиными языками“ торгуетъ съ лотка—неужели, вы
думаете у него удержится такая цѣнная штука, какъ
ящикъ съ дуэльными пистолетами. Загналъ!

Огорченные, разошлись секунданты по своимъ
довѣрителямъ:

— Ну, что?—нетерпѣливо спросилъ блѣдный, съ
горящими глазами графъ Безуховъ. — Все готово?
Когда?

— Чорта-съ два готово! Пистолетовъ нѣтъ.

— Вотъ тебѣ разъ! У барона Берга нѣту ли?

— „Тещины языки“ есть у барона Берга. Не бу-
дете же вы драться тещиными языками!

— Можетъ, въ магазинѣ можно купить? Если не-
дорого...

— Ваше сіятельство, что вы! Въ константино-

польскомъ магазинѣ? Дуэльные пистолеты? Да на кой же ихъ шутъ будутъ держать? Для грековъ, торгующихъ маслинами и халвой?.. Нашли тоже Онѣгинахъ!.. Они больше норовятъ другъ друга по шеѣ сѣздить или—еще проще—обсчитать на „пенды-грошъ“, а не дуэль! Завѣряю васъ, что среди мѣстныхъ грековъ нѣтъ ни Ленскихъ, ни Печориныхъ...

— Гм! Дьявольски глупо... Не отказываться же изъ за этого отъ дуэли!

— Впрочемъ, попытаюсь пойти еще въ одно мѣсто: въ комиссионный магазинъ „Окказіонъ“—не найду ли тамъ?..

* * *

— Здравствуйте. Чѣмъ могу служить?

— У васъ есть дуэльные пистолеты?

— Помилуйте все есть! Ковры, картины, бриллианты, курительные трубки...

— Ну, на кой мнѣ чортъ курительная трубка. Изъ нея не выстрѣлишь.

— Пардонъ, стрѣляться хотите? Дуэль?

— Не я. Я по довѣренности.

— Ага. Такъ, такъ. Присядьте! Ну, желаю удачи. А пистолетики найдутся. Вамъ пару?

— Не четыре же! Это не кадриль танцевать.

— Нѣтъ, я въ томъ смыслѣ спросилъ, что, можетъ, однимъ обойдется.

— Что вы за чушь городите! Какая же эта дуэль съ однимъ пистолетомъ?!

— А почему же? Сначала первое лицо стрѣляетъ, потомъ, ежели не попалъ, передаетъ партнеру, тотъ стрѣляетъ и такъ далѣе. Экономически-съ.

— Подите вы! Сколько стоитъ пара?

— Для васъ? Двѣсти лиръ.

— Вы с ума сошли! Они и шестидесяти не стоятъ!

— Не могу-съ. А пистолеты такие, что поставьте въ затылокъ пятерыхъ — пятерыхъ насквозь прониженетъ.

— Ну, вотъ! Что жъ мы для вашего удовольствія

еще четыре пары дуэлянтовъ подбирать будемъ? Уступите за сто.

-- И разговору такого нѣтъ.

* * *

— Ну, что?!

— Чортъ его знаетъ—съ ума сошелъ человѣкъ! Онъ, можетъ изъ человѣколябія, но нельзя же дратъ двѣсти лиръ за пару! Скажите, сколько вы ас-сигнуете?

— Мм... Могу отдать все что имѣю—сорокъ лиръ.

— Впрочемъ, съ какой стати вы сами будете нести всѣ расходы. Вотъ еще! Пусть противникъ признаетъ на себя половину!

— Послушайте! Удобно ли обращаться... по такому поводу?

— Въ Константинополѣ все удобно! Я съ него и за доктора половину сдеру!..

* * *

Колесо завертѣлось.

Полковникъ Н. пошелъ къ корнету Ростову и потребовалъ, чтобы его довѣритель князь Болконскій заплатилъ свою долю за пистолеты—40 лиръ; корнетъ пошелъ къ князю—у князя нашлось только 25 лиръ; корнетъ отправился къ полковнику, но полковникъ нашелъ, что шансы не равны, и предложилъ взять доктора—на счетъ князя; потомъ оба пошли въ комиссионный магазинъ и стали торговаться...

Хозяинъ уступалъ за полтораста (безъ зарядовъ); секунданты давали 60 съ зарядами; не сойдясь, оба разошлись по своимъ довѣрителямъ за инструкціями; графъ предложилъ полковнику Н. взять пистолеты на прокатъ; полковникъ отправился къ корнету Ростову; оба отправились въ комиссионный магазинъ; хозяинъ согласился на прокатъ, но просилъ залогъ въ полтораста лиръ; оба снова разошлись по довѣрителямъ; одинъ изъ довѣрителей (графъ) согласился дать въ залогъ брошку жены (100 л.) съ тѣмъ, чтобы князь Болконскій доплатилъ остальное; корнетъ Ростовъ отправился къ князю, но у князя оказалось всего на всѣго 15 лиръ; графъ передалъ черезъ своего секун-

данта, что князь саботириуетъ дуэль, а князь отвѣтилъ черезъ своего секунданта, что бѣдность не саботажъ и что онъ, если и задолжаетъ графу за пистолеты, то впослѣствіи, когда будутъ деньги отдастъ; графъ чуть было не согласился, но жена его возмутилась: «съ какой стати,—говорила она,—разъ шансы не равны: если онъ тебя убьетъ, онъ этимъ самымъ освобождается отъ долга, а если ты его убьешь—ты съ него ничего не получишь... Я вовсе не желаю терять на вашей дурацкой дуэли!»; графъ возразилъ, что это не дурацкое, а дѣло чести; графиня отвѣтила въ томъ смыслѣ, что дескать—какая честь, когда нечего ъсть; изъ комиссіоннаго магазина пришелъ мальчикъ и пристодушно спросилъ: «а что теи господа будутъ стрѣлять другъ у друга или отдумали, потому какъ, можетъ, найдутся другіе покупатели—такъ отдавать, или какъ?» Графъ послалъ его къ князю Болконскому, графиня послала его къ чорту, а онъ, вмѣсто этого, раскрылъ зонтикъ отъ дождя и побѣжалъ домой.

Наступала осень.

* * *

О, Ленскіе, Печорины, Онѣгины и Грушницкіе! Вамъ-то небось хорошо было выдерживать свой стиль, и благородство, когда и пистолеты подъ рукой, и камердинеры собственные, и экипажи, и верховыя лошади... «Дуэль? Пожалуйста! Такое-то мѣсто, такой-то часъ, деремся на пистолетахъ»... А попробуйте, милостивый государь господинъ Ленскій, пошататься по «окказіонамъ», да поторговаться до седьмого поту, да войти въ сношенія съ Онѣгинимъ на предметъ взятія на себя части расходовъ, да получить отъ Онѣгина отказъ, потому что у него „юсь пара“ въ карманѣ... Такъ тогда—не «умру ли я, стрѣлой пронзенный» запоете, а совсѣмъ изъ другой оперы:

— Помереть не померла,

Только время провела.

* * *

Бѣдные мы сдѣлались, бѣдные...

И прилично ухлопать-то другъ друга не имѣемъ возможности!

XIV.

Аргонавты и золотое руно.

Съ тѣхъ поръ, какъ осенью 1920 года пароходъ покинулъ берега Крыма и до самого Константинополя — они такъ и ходили нераздѣльно вмѣстѣ — впереди толстый, рыжебородый со сложенными на груди руками, за нимъ, немного сзади, двое: худощавый брюнетъ съ усиками и сѣденъкій, маленький. Этотъ вѣчный треугольникъ угломъ впередъ — напоминалъ стадо летящихъ журавлей.

Только одинъ разъ я увидѣлъ ихъ не въ комбинаціи треугольника: они дружно выстроились у борта парохода, облокотясь о перила, и поплавывали въ тихую воду Чернаго моря — съ такимъ усердіемъ, будто кто нибудь далъ имъ порученіе — такъ или иначе, а повысить уровень черноморской воды.

Я подошелъ и безцѣльно облокотился рядомъ.

— Ну, что юноша, — обратился вдругъ ко мнѣ сѣденъкій. — Какъ дѣлишки?

— Ничего себѣ, юноша, — привѣтливо отвѣтилъ я.
— Дрянь дѣлишки.

— Что думаете дѣлать въ Константинополѣ?

— А чортъ его знаетъ. Что придется.

— Такъ нельзя, — наставительно отозвался черносуій мужчина. — Надо заранѣе выработать планъ дѣйствій. Чтобы не очутиться на константинопольскомъ берегу растеряннымъ дуракомъ. Вотъ мы выработали себѣ по плану — и спокойны!

— Прекрасное правило, — пришелъ я въ искреннее восхищеніе. — Какіе же ваши планы?

Съденькій подариль морскую гладь искусствнымъ полновѣснымъ плевкомъ и, поглядывая на удалявшіеся съ глазъ плоды губъ своихъ, процѣдилъ сквозь энергично сжатыя губы:

— Газету буду издавать.

— Ого! гдѣ?

— Что значитъ—гдѣ? Въ Константинополѣ Я думаю сразу ахнуть и утреннюю и вечернюю. Чтобы захватить рынокъ. Вообще, Константинополь—золотое дно.

— Дно-то-дно,—съ нѣкоторымъ сомнѣніемъ "согласился я. — Только золотое ли?

— Будьте покойны,—вмѣшался черноусый.—На этомъ днѣ лежатъ золотыя розыпи, только нужно умѣть ихъ раскопать. Впрочемъ, мои планы скромнѣе.

И двѣ стороны треугольника сейчасъ же поддержали третью:

— Да его планы скромнѣе.

— Журналъ будете издавать?—попытался догадаться я.

— Ну, что тамъ вашъ журналъ! Чепуха. Нѣтъ мнѣ пришла въ голову свѣжая мыслишка. Только вы никому изъ другихъ пассажировъ не сообщайте. Узнаютъ—сразу перехватятъ.

Я твердо поклялся, что унесу эту тайну съ собой въ могилу.

— Такъ знайте: я рѣшилъ открыть въ Константинополѣ русскій ресторанъ.

— Гм... Я, правда, никогда до сихъ поръ не бывалъ въ Константинополѣ, но... мнѣ кажется, что... тамъ уже въ этомъ направленіи кое-что сдѣлано.

— Чорта съ два сдѣлано! Развѣ эти головотяпы съумѣютъ? Нѣтъ, у меня все будетъ особенное: оркестръ изъ живыхъ венгерцевъ, метрдотель типичный французъ, швейцаръ—швейцарецъ съ алебардой, а вся прислуга—негры!

— И вы всю эту штуку назовете русскимъ рестораномъ?

— Почему бы и нѣтъ? Кухня-то вѣдь русская!

Щи буду закатывать, кулебяки загибать, жареныхъ поросятъ зашпаривать. На всю Турцію звонъ сдѣлаю.

— Но вѣдь для этого дѣла нужны большія деньги!

— Я знаю! Тысячъ десять лиръ. Но это самое легкое. Найду какого нибудь богатаго дурака грека—въ компаніи съ нимъ и обтяпаемъ.

Молчавшій доселѣ бородачъ вдругъ захочоталъ, подарилъ морскую гладь сложнѣйшимъ плевкомъ съ прихотливой завитушкой и дружески ударилъ меня по плечу.

— Нѣтъ, это все скучная матерія—дѣла, разсчеты, выкладки. Вотъ у меня планъ, такъ планъ! Знаете, что я буду тамъ дѣлать?

— А Богъ васъ знаетъ.

— То-то и оно. Ничего не буду дѣлать. Сложа руки буду сидѣть. Валюту везу. Ловко, а!

— Замѣчательно.

Да-а. Узнаетъ теперь этотъ Константинополишка Никанора Сырцова! Ей-бо-право! Палецъ о палецъ не ударю. Сложу руки и буду сидѣть. Поработали и буде. Ежели встрѣчу тамъ гдѣ—шампанеей до краевъ налью. Да просто заходи въ лучшій готель и спроси Никанора Сырцова—тамъ я буду! А може я въ Васькиной газетѣ публиковаться буду: „такой-то Никаноръ Гавриловъ Сырцовъ разыскиваетъ родныхъ и знакомыхъ на предметъ выпивки съ соотвѣтствующей закуской“. А въ кабакѣ мы съ тобой будемъ ходить только въ Петькинъ: пусть намъ тамъ негры и венгерцы дурака ломаютъ. Поддержимъ пріятеля, хе-хе! Хай живе Украина!

Журавлиній треугольникъ отдѣлился отъ перилъ, взмахнулъ крыльями и плавно понесся въ трюмъ на предметъ насыщенія своихъ пернатыхъ желудковъ.

* * *

Пока все бѣженство кое-какъ утрясалось, пока я лично устраивался—никто изъ журавлинаго треугольника не попадался мнѣ на глаза.

Но однажды когда я скромно ужиналъ въ уголку шумнаго ресторана—ко мнѣ подлетѣлъ головной журавль—Никаноръ Сырцовъ.

— Другъ!—завопилъ онъ.— Говорилъ шампанеей налью—и налью. Пойдемъ до кабинету. Какіе цыгане —пальчики оближишь. Какъ залъются—такъ или на отцовскую могилу хочется бѣжать, или кому-нибудь по портрету заѣхать. Благороднѣйшіе люди.

Онъ сцѣпился со мной на абордажъ, послѣ долгой битвы побѣдилъ меня и, взявъ на буксиръ, отшвартовался „до кабинету“, который оказался холодной дымной накуренной комнатой, наполненной людьми. Въ рукахъ у нихъ были гитары, на плечахъ линялые кунтуши, на лицахъ—скуча непроходимая.

— Эхъ, братъ!—воскликнулъ Сырцовъ, становясь въ позу. — Люблю я тебя, а за что и самъ не знаю. Хорошій человѣкъ, чтобы ты сдохъ! Вѣришь со всѣсти—вторую тысячу пропиваю!.. А ну вы, конокрады —ушкварьте. «Двѣ гитары за стѣной!»

Пѣль Сырцовъ, рыдалъ Сырцовъ въ промежуткахъ, и снова плясалъ Сырцовъ, одѣляя всѣхъ алчущихъ и жаждущихъ бокалами шампанского и лирами.

— Во, братъ,—кричалъ онъ, путаясь невѣрными ногами въ странномъ танцѣ. — Это я называю жить, сложа руки! Вотъ она, братъ, и есть настоящая жизнь! Ой, жги, жги, жги!..

Послѣдній призывъ Никанора цыгане принимали вяло и, вмѣсто поджога, только хлопали бокаль за бокаломъ, зѣвая, перемигиваясь и переталкиваясь локтями. Впрочемъ, и самъ Сырцовъ не могъ точно указать, какой предметъ обречень имъ на сжиганье.

— Постой,—попытался я остановить пляшущаго Никанора.—Разскажи мнѣ лучше — что подѣлываютъ твои пріятели? Открыли ресторанъ? Издаютъ газету?..

— А чортъ ихъ знаетъ. Я восьмой день дома не былъ—такъ что мнѣ газета!—На ность мнѣ ее, что ли?

* * *

Шелъ я однажды вечеромъ по Пти-Шанъ.

Около знаменитаго ресторана «Георгія Карпича» раздался нечеловѣческій вопль:

— Интер-респнай газета „Прессъ дю суаръ!“ Купите, господинъ!

Я пригляделся: вони лъ издатель изъ журавлиного треугольника.

Очевидно, вся его издательская деятельность ограничилась тѣмъ, что онъ издавалъ вопли, съ головой уйдя въ несложное газетное дѣло сбыта свѣжихъ номеровъ.

— Что же это вы чужую газету продаете — участливо спросилъ я.—Д своя гдѣ?

— Дѣло этого... налаживается, — нерѣшительно промягмилъ онъ.— Еще мѣсяцъ, два и, этого... Съ разрѣшеніемъ дьявольски трудно!..

— А что вашъ пріятель? Какъ его дѣло съ рестораномъ?

— Пожалуйте! Тутъ за угломъ, второй домъ, вы-
вѣска. Навѣстите, онъ будетъ радъ.

— Слава Богу,—подумал я, идя по указанному адресу.—хоть одинъ устроился!..

Этот, послѣдній, дѣйствительно, увидалъ меня — обрадовался.

Подошел къ моему столику, обмахнулъ его салфеткой, вынулъ изъ кармана карточку и сказаль:

— Вотъ пріятная встрѣча! Что прикажете? Водочки съ закусочкой, горячаго или просто чашку кофе?

— Вы что тутъ въ компані? Нашли дурака грека съ деньгами?

— Нѣтъ, собственно онъ нашелъ меня, дурака. Или, вѣрнѣе, я его, конечно, нашелъ, ну такъ вотъ... Гм... Пока служу. У него, впрочемъ, дѣйствительно, есть большія деньги. Я только... этого. Не заинтересованъ.

— А венгерцевъ и негровъ нѣтъ?

Онь отвернулся къ окну и сталъ салфеткой протирать заплаканное стекло.

— И швейцарь вашъ безъ алебарды, безоружный, въ опоркахъ...

— Шутить изволите. Можетъ, винца прикажете? Хорошее есть...

Repubblica Cetena

Еще мѣсяцъ съ грохотомъ пронесся надъ нашими головами.

Проходя мимо греческого пустынного ресторана-чика, я иногда видѣлъ дремлющимъ у стѣны съ салфеткой подъ мышкой смѣлаго инициатора дѣла, построенного на венгерцахъ, неграхъ, швейцарцахъ и алебардахъ.

И, по-прежнему, издатель на углу яркой улицы издавалъ стоны:

— Прессъ дю Суаръ“!

Вчера, остановившись и покупая газету, я спросилъ простодушно:

— А что же ваша собственная газета?

— Навѣрное, скоро разрѣшится.

— Ну, а что вашъ пріятель Никаноръ Сырцовъ? По-прежнему сидитъ сложа руки?

— Сложа-то-сложа... Только не сидитъ, а лежитъ. Отъ голодного тифа или что-то вродѣ—померъ. Всѣ деньги на цыганъ да на глупости разныя проухалъ! У меня, въ концѣ концовъ, по пяти піастровъ перехватывалъ! Да мнѣ тоже, знаете, взять ихъ неоткуда. Вотъ тебѣ и „сложа руки“! Много ихъ, такихъ дураковъ.

И когда онъ говорилъ это—у него было каменное неподвижное лицо, какъ у старыхъ боксеровъ, которыхъ другіе боксеры лупили по щекамъ огромными каменными кулачицами, отчего лицо дѣлается навсегда непробиваемымъ.

Жестокій это боксеръ—Константинополь! Каменѣетъ лицо отъ его ударовъ.

XIV.

Развороченный муравейникъ

Разговоръ въ бѣженскомъ общежитіи:

— Здравствуйте... Я къ вамъ на минутку. У васъ есть карта Россійской Имперіи?

— Вотъ она. На стѣнкѣ.

— Ага! Спасибо. А почему она вся флагками покрыта? Гм! Для линіи фронта — флагки, кажется, слишкомъ неряшливо разбросаны...

— Родственники.

— Ага! Родственники это сдѣлали?

— Какіе родственники! Я это сдѣлалъ.

— Родственникамъ это сдѣлали? Для забавы?..

— Къ чорту забаву! Для собственнаго руководства сдѣлалъ.

— Въ назиданіе родственникамъ?

— Плевать хочу на назиданіе!

— А при чемъ же родственники?

— Выдерните флагокъ изъ Екатеринослава! Ну?

Что тамъ написано?

— „Алеша“ написано.

— Такъ. Брать. Застряль въ Екатеринославѣ.

— Позвольте... А гдѣ же ваша вся семья?

— А вотъ слѣдите по картѣ... Отправной пунктъ —Петербургъ—застряла больная сестра. Служитъ въ Продкомѣ, несчастная. «Москва»—потеряли при проѣздѣ дядю. Что на флагкѣ написано?

— Написано „Дядя“.

— Правильно написано. Дальше—«Курскъ»: арестована жена за провозъ якобы запрещенныхъ 2-хъ

фунтовъ колбасы. Разлучили—повели куда то. Успѣлъ вскочить въ поѣздъ, потому что тамъ оставались дѣти. Теперь—ищите дѣтей .. Станція Григорьевка—Люся... Есть Люся? Такъ. Потерялась въ давкѣ. Ёду съ Кокой. Станція Орѣхово. Нападеніе махновцевъ, снова давка—Коку толпа выносить на перронъ вмѣстѣ съ выломанной дверью. Три дня искалъ Коку. Пропалъ Кока. Какой флагъ на Орѣховѣ?

— Есть флагъ: „Кока на выломанной двери“.

— Правильный флагъ. Теперь семья брата Сергѣя... Отправной пунктъ бѣгства — Псковъ. Разсыпались кистью, вродѣ разрыва шрапнели.—Псковъ—безногій паралитикъ дѣдушка, Матвѣевка—Грися и Сеня, Добронравовка—свояченица, Двинскъ—тетя Мотя, самъ Сергѣй,—Ковно, его племянникъ гдѣ-то между Минскомъ и Шавлями—я такъ и флажокъ воткнулъ въ нейтральную зону... Теперь—гроздь флагковъ въ Ростовскомъ направленіи—семья дяди Володи, тонкая линія съ перерывами на Сибирское направленіе—семья сестры Лики!.. Пукъ флагковъ по теченію Волги... Впрочемъ, что это я все о своихъ, да о своихъ... Прямо невѣжливо! Вы лучше разскажите—какъ ваша семья поживаетъ?..

— Да что жъ разсказывать... Они, кромѣ меня, всѣ вмѣстѣ—всѣ 9 человѣкъ.

— Ну, слава Богу, что вмѣстѣ.

— Вы думаете? Они на Ново-Дѣвичьемъ кладбищѣ въ Москвѣ рядышкомъ лежать...

XV.

Великое переселение народовъ

Когда я шелъ по улицѣ, то случилось такъ, что этимъ актеромъ будто кто-то швырнулъ въ меня изъ окна третьяго этажа: такъ неожиданно налетѣлъ онъ на меня, и едва-ли—не сверху.

— Осторожнѣе, грудную клѣтку поломаете,— испуганно воскликнулъ я.

— Простите, не замѣтилъ. Задумался.-

— Небось, все о дороживизнѣ здѣшней жизни думаете?..

— Такъ. Млеко та отъ кравъ гораздо-та драго-та.

— Я... вѣсъ... не понимаю.

— Я на счетъ кравъ. Млеко-та ихнее, говорю, гораздо драго-та.

— Это еще что за арго?

— Болгарскій языкъ. Я теперь по-болгарски учусь.

— На какой предметъ?

— Въ славянскія земли ъду.

— На какой предметъ?

— Пѣть тамъ буду. Я пѣвецъ. Пѣть буду.

— На какой предметъ?

— Деньги зарабатывать. Тамъ, говорятъ, очень выгодно для актеровъ. Болгары чудесный народъ.

Въ это время къ моему собесѣднику подошелъ другой актеръ. Поздоровались они:

— Живіо.

— Наздаръ!

— Скро ъдмъ?

- Какъ тлько блгарскую взу плучу-та.
- Вы тоже ёдете? — спросилъ я.
- Обязательно. Всѣ ёдутъ: Звонскій, Кринскій, Брутовъ, Крутовъ, Весеньевъ и Перепентьевъ.
- Позвольте .. Васъ я еще понимаю, что вы ёдете: ваша специальность — балалайка... Такъ сказать, международный языкъ! А что тамъ будутъ дѣлать Брутовъ и Крутовъ? Вѣдь они драматические.
- Драму будутъ играть.
- Но вѣдь болгары не понимаютъ по русски!
- Поймутъ! Все дѣло въ томъ, что изъ пьесы нужно всѣ гласныя вымарать и къ каждому слову „та“ прибавить. Тогда и получится по-болгарски. Сейчасъ помощникъ режиссера сидитъ и вымарываетъ, актеры даже рады: меньше учить придется. Здраво-та?!
- Крпко здраво, — улыбнулся я.
- Вотъ видите — вы тоже уже научилисъ. Это вѣдь быстро! Пресимпатичный языкъ! Когда ёдете?
- Я не собираюсь.
- Неужели?! Перваго человѣка вижу, который не ёдетъ въ славянскія земли!
- А что мнѣ тамъ дѣлать?
- Писать будете. Написали разсказъ, вычеркнули всѣ гласныя да и маршъ въ газету. Какъ говоритъ: маршъ, маршъ, генерале нашъ!
- Вздоръ! Драцкая мсль-та!
- Ничего не дурацкая. Въ славянскихъ земляхъ многи листи излази.
- Чего-о?
- Я говорю: многи листи излази. По нашему —много газетъ выходитъ. А театръ по-ихнему — позорище.
- Вотъ видите. А вы ёдете,
- Да вѣдь не я одинъ. И Громыкинъ и Самыкинъ и Зуевъ и Заворуевъ — всѣ ёдутъ.
- Какъ Заворуевъ?! Вѣдь онъ не актеръ!
- А онъ хорошо на пробкѣ играетъ. Зажметъ пробку въ зубы и ну по щекамъ пальцемъ щелкать. Любой мотивъ изобразить.

— Гм... да... Теперь я понимаю, почему театръ по-славянски—позорище.

— Самыкинъ, хотя онъ и бѣговой наѣздникъ,—
у насъ онъ будетъ знаменитымъ славянскимъ стрѣл-
комъ.

— Ну, дай ему Богъ наст्रѣлять побольше.

Подошелъ къ намъ Сеня Грызунковъ, существо, умственный багажъ котораго не позволилъ бы своему обладателю и до Кады-Кея безъ посторонней помощи доѣхать.

— Здравъ буди, — сказалъ Сеня, здороваясь со мной.—Ну, братцы, поздравьте! Исаія, ликуй! Получилъ заграничный паспортъ и ёду въ церковно-славянскія земли!

— Сеничка, — сочутвенно сказаль я. — Какъ же ты поѣдешь въ церковно-славянскія земли... Вѣдь тамъ, поди, церквей много?..

— Ну такъ что жъ...

— А вашего брата и въ церкви бываютъ.

— Мой братъ и не ёдетъ. Онъ въ Совдепіи застряль. А мы съ Маничкой Овсовой ёдемъ. У нея по-завчера въ половинѣ пятаго голосъ открылся. Настоящая Нежданова. Будемъ цыганскими романсами работать. Ёдемъ я, она и ея тетя. Гайда, тройка!

Пришелъ я домой, ^{* * *} взглянулъ на карту Болгаріи и сердце у меня сжалось:

— Больно-та мала страна та.

Но тутъ же и успокоился:

— Это ничего, что страна маленькая, зато сердце у нея великое. Душа гостепримная.

Вижу отсюда, что пригрѣть Болгарія, по мѣрѣ возможности, и Громыкина, и Самыкина, и Зуева, и Заворуева.

Трагедія русскаго писателя

Меня часто спрашиваютъ:

— Простодушный! Почему вы торчите въ Константинополѣ? Почему не уѣзжаете въ Парижъ?

— Боюсь,—робко шепчу я.

— Вотъ чудакъ... Чего-жъ вы боитесь?

— Я писатель. И поэтому, боюсь оторваться отъ родной территории, боюсь потерять связь съ роднымъ языкомъ.

— Эва! Да какая же это родная территорія—Константинополь.

— Помилуйте—никакой разницы. Проходишь мимо автомобиля—шофферъ кричитъ: «пожалуйте, господинъ!» Цвѣты тебѣ предлагаютъ: «не купите ли цвѣточковъ? Дюже ароматные!» Рядомъ: «Пончики замѣчательные!» Въ ресторанѣ зашелъ—со швейцаромъ о Достоевскомъ поговорилъ, въ шантанѣ пойдешь, слышаши:

Матреха, брось свои замашки,

Скорѣй тангу со мной пляши...

Подлинная черноземная Россія!

— Такъ вы думаете, что въ Парижѣ разучитесь писать по русски?

— Тому есть примѣры,—печально улыбнулся я.

— А именно?..

Не отнѣкиваясь, не ломаясь, я тутъ же разсказа-
залъ одну извѣстную мнѣ грустную исторію:

О РУССКОМЪ ПИСАТЕЛЪ.

Русскій пароходъ покидалъ крымскіе берега, отплывая за-границу.

Опершись о бортъ, стоялъ русскій писатель рядомъ со своей женой и тихо говорилъ:

— Прощай, моя бѣдная истерзанная родина! Временно я покидаю тебя. Уже на горизонтѣ маячить Эйфелева башня, Нотръ-Дамъ, Итальянскій бульваръ, но еще не скрылась съ глазъ моихъ ты, моя старая добрая, такъ любимая мною Россія! И на чужбинѣ я буду помнить твои маленькия церковки и зеленые монастыри, буду помнить тебя, холодный красавецъ Петербургъ, твои улицы, дома, буду помнить „Медвѣдя“ на Конюшенной, гдѣ такъ хорошо было запить растегай рюмкой рябиновой! На всю жизнь врѣжешься ты въ мозгъ мнѣ—моя смѣшная, нелѣпая и безконечно любимая Россія!

Жена стояла тутъ же; слушала эти писательскія слова—и плакала.

* * *

Прошелъ годъ.

У русскаго писателя была уже квартирка на бульварѣ Гренелль и служба на улицѣ Марбефѣ, многіе шофферы такси уже кивали ему головой, какъ старому знакомому, уже у него было свое излюбленное кафе на улицѣ Пигаль и кабачокъ на улицѣ Сенъ-Мишель, гдѣ онъ облюбовалъ рагу изъ кролика и со всѣмъ недурное «ординэръ»...

Пришелъ онъ однажды домой послѣ кролика, послѣ «ординэр'а»—сѣлъ за письменный столъ, подумалъ и—тряхнувъ головой, рѣшилъ написать разсказъ о своей дорогой родинѣ.

— Что ты хочешь дѣлать?—спросила жена.
 — Хочу разсказъ написать.
 — О чѣмъ?
 — О Россіи.
 — О че-емъ?..
 — Господи, Боже ты мой! Глухая ты что-ли? О Рос-сі-и!!!

— Calmez-vous, je vous en prie! Что-жъ ты можешь писать о Россіи?

— Мало-ли! Начну такъ: «шелъ унылый скучный дождь,—который только и можетъ итти въ Петербургѣ... Высокій молодой человѣкъ быстро шагалъ по пустынной въ это время дня Дерибасовской...

— Постой! Развѣ такая улица есть въ Петербургѣ?

— А чортъ его знаетъ. Знакомое словцо. Впрочемъ, поставилъ для вѣрности—Невскую улицу! Итакъ «... Высокій молодой человѣкъ шагалъ по Невской улицѣ, свернулъ на Конюшенную и вошелъ, потирая руки къ „Медвѣдю“.—„Что, холодно, monsieur?“ спросилъ метрдотель, подавая карточку.—„Mais oui,—возразилъ молодой сей господинъ. — Я есть большой замерзавецъ на свой хрупкій организмъ“!

— Послушай, — робко перебила жена. — Развѣ есть такое слово „замерзавецъ“?

— Ну да! Человѣкъ, который быстро замерзаетъ —суть замерзавецъ. Пишу дальше: „Прошу васъ очень, сказалъ тотъ молодой господинъ.—Подайте мнѣ одинъ застегай съ немножечкомъ poisson bien frais и одну рюмку рабиновку.

— Что это такое—рабиновка?

— Это такое... du водкѣ.

— А, по моему, это еврейская фамилія: Рабиновка—жена Рабиновича.

— Ты такъ думаешь?.. Гм! Какъ, однако, трудно писать по русски!

И принялъ грызть перо.

Грызъ до утра.

* * *

И еще годъ пронесся надъ писателемъ и его женой.

Писатель пополнѣлъ, округлился, завелъ свой auto—вообще, та вечерняя газета, гдѣ онъ вель парижскую хронику—щедро оплачивала его—,сеть селебръ рюссы“.

Однажды онъ возвращался вечеромъ изъ ресторана, гдѣ оркестръ ни съ того, ни съ сего сыгралъ

„Боже, царя храни“... Знакомая мелодія нав'яла це-
лый рой мыслей о Россіи...

— О, нотръ повръ Русси!—печально думалъ онъ.
—Когда я приходитъ домой, я что нибудь будить пи-
сать о наша славненькая матучка Руссія.

Пришелъ. Сѣлъ. Написаль:

„Была большая дождика. Погода былъ то, что
называй веритабль петербуржъенъ! Одинъ молодой
господинъ ходилъ по одна улица, по имени сей улица:
Крещіатикъ. Ему очень хотѣлось tanger. Онъ захо-
дишь на Конюшню съѣсть на медвѣдь и поѣхать въ
Restaurant, гдѣ скажиши: Garson, une tasse de рабин-
вичъ и одна застегайчикъ avec тарелашка съ ухами...

* * *

Я кончилъ.

Мой собесѣдникъ сидѣлъ, совсѣмъ раздавленный
этой тяжелой исторіей.

Оборванный господинъ въ красной фескѣ подо-
шелъ къ намъ и хрипло сказалъ:

— А что, ребятежъ, нѣтъ ли у кого прикурить
цыгарки!

— Да,—ухмыльнулся мой собесѣдникъ.—Труднс
вамъ уѣхать изъ русскаго города!

— — —

XVII.

ЯЗЫКЪ БОГОВЪ

Маленькая грязная комнатка, съ гримасой бѣшенства сдаваемая маленькой грязной гречанкой одному моему безработному знакомому.

Онъ слишкомъ гордъ, чтобы признать отчаянное положеніе своихъ дѣлъ, но, зайдя къ нему сегодня, я сразу увидѣлъ всѣ признаки: вымытую собственными руками рубашку, сушившуюся на портретѣ Венизелоса, тарелку, на которой лежалъ огрызокъ ужасающей жареной печонки, съ обломкомъ семита,—отложеніе въ качествѣ ужина, грязная закопченная керосинка, съ какой-то застывшей размазней въ кастрюльѣ.

Обитатель комнатки такъ углубился въ членіе книги, что даже не замѣтилъ моего появленія...

— Что ты сидишь какъ сыръ—носъ въ книгу уткнулся. Захлопывай книгу, пойдемъ по взморью на лодкѣ кататься. Погода изумительная!

Поднялъ онъ отъ книги тяжелую голову, поглядѣлъ на меня ничего не видящими глазами — опять уставилъ ихъ въ книгу.

— Ну, чѣмъ же ты?

— Сегодня не могу, книжку читаю.

— Подумаешь, важность, книжка! Что это: откровеніе великаго мыслителя что-ли?

— Подымай выше! Видишь, не могу оторваться.

— Поэма Эдгара По?

— Убирайся ты со своимъ По!

— Бѣшенная фантазія Гастона Леру?

— Откровенно говоря, я не знаю, какъ эта книга и называется: первые нѣсколько листовъ оторваны. Знакомый газетчикъ далъ.

— Да съ чего же начинается?

— А вотъ послушай: ...«Вообще, на рынкахъ и въ лавкахъ купить хорошихъ, сытыхъ, т. е. откормленныхъ цыплятъ—большая рѣдкость. Ежели хотите имѣть хорошихъ цыплятъ, то, купивъ ихъ живыми, слѣдуетъ покормить недѣльки двѣ дома гречневой крупой, заваренной кипящимъ молокомъ, и содержать всѣхъ въ тѣсномъ мѣстѣ, чтобы цыплята не бѣгали. Но ежели хотите побаловать себя цыплятами на славу —(тутъ голосъ моего пріятеля дрогнулъ отъ волненія), то покормите ихъ варенымъ на молокѣ рисомъ! Цыплята будутъ обѣденіе: бѣлое, нѣжное, тающее во рту мясо, съ косточками, какъ хрящики. Правда, такое кормленіе молочнымъ рисомъ обходится не мало—рубля 3—4».

Я проглотилъ слону и нетерпѣливо воскликнулъ:

— Постой! Да вѣдь это простая поваренная книга!!

— Простая? Нѣтъ, братъ, не простая! Послушай-ка: «Главный подвозъ рябчиковъ—вологодскихъ и астраханскихъ,—начинается съ установившагося зимняго пути. Лучшіе сибирскіе рябчики, кедровики, то есть, питающіеся кедровыми орѣхами. Когда выбираете дичь — она должна быть чиста, чтобы дробинки, такъ сказать, нигдѣ не было видно. Это тѣмъ особенно важно, что тогда, во время жаренъя жирной птицы, сало и сокъ изъ ея ранокъ не вытекаютъ, отчего она не высохнетъ и не потеряетъ во вкусѣ. Хорошій рябчикъ долженъ быть: бѣль, сыръ, т. е. мясистъ. Ароматъ его—пріятно-смолянистый».

— Ну, такъ єдемъ, что ли?

Я внутренно лукаво улыбнулся и добавилъ:

— Марья Григорьевна тоже єдетъ.

— Марья Григорьевна? Ага. А ты вотъ это послушай: „Бываютъ случаи, что люди самые опытные ошибаются въ выборѣ рыбы—да еще какъ ошибают-ся-то! Плаваютъ, напримѣръ, въ садкѣ или օкаренкѣ

двѣ стерляди; ростъ у нихъ, правильнѣе—мѣра оди-
наковая, обѣ толстяя, брюшко у обѣихъ желтое, обѣ
безъ икры, яловыя, что вкуснѣе. Вы просите подрѣ-
зать рыбъ снизу, къ наростику, тѣ е. къ хвосту. Под-
рѣзать обѣихъ, и обѣ, какъ желтокъ, жиръ—чер-
вонное золото. Чего еще требовать? Какъ еще пробо-
вать? Между тѣмъ, за столомъ оказывается, что одна
изъ стерлядей вкусомъ удивительная, нѣжная, таетъ
во рту, другая—такъ себѣ, грубая, дрябла, темновата,
да и жиру въ ней оказывается мало—весь онъ остал-
ся въ разсолѣ, въ которомъ варили стерлядь, и по-
темнѣла-то она во время варки. Отчего?—Отого, что
стерлядь эта другой воды: первая изъ Оки, вторая—
волжская!!“

— Н-да,—задумчиво сказалъ я, машинально гло-
тая слюну.—Дѣла!

— Вотъ видишь! А ты знаешь, какъ телятъ
поятъ?

— Подумаешь, важность; дадутъ ему воды—онъ
и пьетъ.

— Ха-ха-ха! Слушай. „Еще не такъ важно от-
поить теленка, какъ важно выбрать его для отпоя, въ
чемъ, главное, и заключается секретъ Троицкихъ те-
лятниковъ. Именно: выбирайте для отпоя теленка на
низкихъ, а не на высокихъ бабкахъ, смотрите, чтобы
у него были бѣлы бѣлки и губы, изнутри, когда ихъ
подвернете. Теленокъ, выбранный для отпоя, не дол-
женъ дѣлать большого движенія, для чего его ставятъ
въ тѣсное стойло, гдѣ бы онъ могъ только повер-
нуться, лечь и встать, но отнюдь не скакать и играть;
подстилки не должно класться никакой: одна соломи-
на, которую теленокъ будетъ жевать—испортить все
дѣло. Въ стойлѣ должно быть сухо, для чего поль-
дѣлаютъ наклоннымъ, съ дырями, чистымъ. Ежели
въ молоко будетъ подлита хоть капля воды или под-
бавлена мука—телятина будетъ непремѣнно красна и
груба. Менѣе, какъ въ четыре—пять недѣль порядоч-
но отпоить теленка нельзя; но поятъ очень хорошихъ
по три, даже по четыре мѣсяца. Конечно, такимъ те-

лятамъ молока отъ одной коровы недостаточно, и поять ихъ отъ двухъ, трехъ, пяти и болѣе—коровъ.

— Что ты хочешь этимъ сказать?—угрюмо спросилъ я.

— Ничего!—отвѣчалъ онъ торжествующе.

— А Марья Григорьевна тебя два раза спрашивала; она сегодня особенно интересна. И понимаешь —на блузкѣ совсѣмъ прозрачные рукава... А руки! Бѣлыя, пухленькия, съ ямочками на локтяхъ. Грудь...

— А это: „Къ масленицѣ зернистую икру подвоятъ въ столицы и даже почти во всѣ города нашего отечества въ огромномъ количествѣ. Къ сожалѣнію любителей, хорошая зернистая икра всегда въ цѣнѣ (4—4½ руб. фунтъ); достоинства зернистой икры слѣдующія: малая соль, разбористость, т. е., зерно должно быть цѣло, не смято и отдѣляться одно отъ другого свободно, раскатываться въ дробь. Бѣлужья икра крупнѣе и бѣловатѣе, осетровая — мельче и съ желтизной, но трудно сказать, которая лучше. Лучшая зернистая икра — багреная, т. е. та, которая вынута изъ рыбы пойманной на волѣ багромъ, а не садковая, т. е. вынутая изъ рыбы, сидѣвшей уже въ садкахъ, изъ потомленной рыбы“. Ха-ха! Понимаешь, какъ люди раньше жили? Икру изъ томленной рыбы онъ не лопалъ!..

— Послушай: замѣчательная погода. Море тихое, а? Пойдемъ... Сейчасъ, полная луна, съ берега доносится музыка, волны тихо шелестятъ о борта лодки... Марья Григорьевна смотритъ на тебя загадочнымъ мерцающимъ взглядомъ. Стройная подъемистая ножка шаловливо выглядываетъ изъ подъ края шумящей юбки...

— А это?! „Макароны Монглясь. Въ приготовленные и вымѣшанные съ масломъ макароны положить тертый пармезанъ пополамъ съ швейцарскимъ сыромъ, филеи изъ куръ, нарѣзанныя ломтиками, гусиные печонки, трюфели и шампиньоны, предварительно обжаривъ ихъ въ маслѣ. Потомъ прибавить ложку бѣлаго соуса, размѣшать, подавать при консоме...“ А? каково?

— Не спорю,—вздохнулъ я.—Макароны Монглясь—очень вкусная штука. Да, кстати, о Марьѣ Григорьевны. За ней въ послѣднее время усиленно прихлестываеть Пузыренко... Если ты не поѣдешь—онъ тоже увяжется въ лодку...

— Меня не это удивляетъ,—разсѣянно возразилъ пріятель.—Меня удивляетъ „Гарниръ Массена“. Поплюбуйся-ка: „снять съ дроздовъ филеи, подрѣзать верхнюю плеву, подсолить, изжарить. Очистить свѣжіе каштаны и, обжаривъ немнога въ сливочномъ маслѣ, налить бульономъ, сварить до мягкости; приготовить на двухъ яйцахъ лапшу, сварить въ соленомъ кипяткѣ откинуть на рѣшето. Когда все будетъ готово, сложить лапшу на растопленное масло въ кастрюльѣ, размѣшать, выложить на блюдо, сверхъ лапши уложить филеи, а средину наполнить сваренными каштанами...“

— Ей Богу—моляще простональ я,—я дроздовъ не люблю. Другое дѣло перепелки... И Марья Григорьевна ихъ очень любить. Знаешь, когда она ёстъ своими бѣленькими зубками...

— Перепелки, говоришь? Изволь! „Гарниръ Шомель“. Снять филеи съ 6-ти перепелокъ и подрѣзать, верхнюю кожицу, сложить на вымазанную масломъ глубокую сковороду и обжарить. Выпустить въ кастрюлю 10 желтковъ яицъ развести выкипяченнымъ со-комъ изъ перепеловъ, посолить, процѣдить, разлить въ намазанныя масломъ формочки и сварить на пару. Нафаршировать овальныя гренки фаршемъ изъ дичи № 17...“

— Постой, постой! А какъ дѣлается № 17?..

— Сейчасъ посмотримъ...

Было 2 часа ночи.

Луна, освѣщавшая гдѣ-то далеко на тихомъ взморье Марью Григорьевну и Пузыренко, заглядывала и къ намъ въ окно.

Такъ какъ мой пріятель усталъ читать—его замѣнилъ я.

Наклонившись надъ книгой, читалъ я внятно и со вкусомъ:

— „Артишоки, фаршированные другимъ манеромъ“. Приготовить артишоки, обдать ихъ кипяткомъ, а потомъ выбрать на салфетку. Приготовить фаршъ № 27, прибавить шампиньоновъ, рубленаго трюфеля, рубленной зелени, раковыхъ щеекъ...

* * *

Смаковали до утра.

Что ни говори, а бѣдному русскому въ Константинополѣ удается иногда попировать по-царски.



XVIII.

БРИЛЛІАНТЪ ВЪ ТРИ КАРАТА

Недавно я могъ разбогатѣть. И я съ высоко поднятымъ челомъ прошелъ мимо этого богатства, къ которому буквально стоило только протянуть руку.

Что меня удержало? Полагаю, исключительно только тѣ принципы, которымъ еще въ дѣтствѣ научила меня мама, да то кроткое лицо любимой дѣвушки, которое глянуло на меня съ небесъ.

На Перѣ около Русскаго посольства въ 4 часа дня ко мнѣ подошелъ бѣдно одѣтый человѣкъ съ открытымъ лицомъ и спросилъ:

— Гдѣ банкирская контора Иванова?

— Не знаю, голубчикъ,—вѣжливо сказалъ я, разглядывая витрину книжнаго магазина.

Тогда онъ обратился къ другому господину, стоявшему подлѣ—солидному, привѣтливаго вида господину.

— Гдѣ банкирская контора Иванова?

— А зачѣмъ вамъ банкирская контора?

— Да вотъ хочу русскій золотой продать.

На лицѣ солиднаго ясно отпечаталось ненасытное корыстолюбіе:

— Сколько хотите?—спросилъ онъ, подмигивая мнѣ..

— Пять лиръ.

— Давайте.

Я пошелъ впередъ, но солидный догналъ меня, и,

очевидно, не могши сдержать распиравшей его изнутри радости, объявилъ:

— Видали вы такого дурака? Золотой стоить семь съ полтинной, а онъ за пять отдалъ.

— А хорошо ли пользоваться неопытностью ближняго?—мягко упрекнулъ я.

— Ну, вотъ еще! Дураковъ учить надо.

Въ это время человѣкъ, такъ жестоко охарактеризованный солиднымъ, догналъ насъ и сказалъ таинственно озираясь:

— А у меня еще вещички есть... Не купите ли?

Мой новый знакомый заволновался и толкнулъ меня по-сообщнически локтемъ: „Не будетъ ли, дескать, поживы“?

— Только зайдемъ подъ ворота.

И тутъ въ полумглѣ воротъ передъ нашими очарованными глазами блеснули изъ бархатной коробочки два великолѣпныхъ крупныхъ брилліанта...

— Сколько хотите? — истерически заволновался солидный, даже облизнувъ запекшіеся губы.—Я куплю.

И шепнулъ мнѣ на ухо:

— Понимаете... Трехкардники. Чистая вода. Лиръ по семьсотъ. Если хотите—уступлю вамъ.

Мое врожденное благородство не позволило мнѣ воспользоваться такимъ щедрымъ предложеніемъ.

— О, что вы! Вамъ первому предложено...

— Ну, хорошо, я триста лиръ дамъ за пару!—засуетился солидный... — Только сейчасъ въ контору сбѣгаю. Уменя тутъ комиссіонно-ювелирная контора. Подождите минутку...

Продавецъ оказался капризнымъ, какъ избалованная кокетка:

— Ну, вотъ еще: ждать! Хотите берите, нѣтъ—не надо.

И, замкнувшись въ самого себя, побрелъ впередъ.

Мой новый знакомый схватилъ меня за руку и умоляюще зашепталъ:

— Не упускайте его изъ виду! Задержите хоть на пять минутъ, пока я за деньгами смотаюсь. Двѣсти

лиръ вамъ дамъ за комиссію!.. Идите за нимъ. Вѣдь тутъ на полторы тысячи.

— Я догналъ продавца и, усмѣхаясь, сказалъ:

— А этоѣ субъектъ здорово разгорѣлся на ваши брилліанты. Онъ просить подождать.

— А ну его!.. Не продамъ я ему,—угрюмо проромоталъ таинственный брилліанщикъ.

— Почему?

— Не хочу съ жидами дѣло имѣть.

— Фи! Стыдитесь!—огорченно замѣтилъ я.—При чёмъ тутъ эта расовая рознь. когда лучшіе умы...

— Купите лучше вы. Я вамъ за сто отдамъ.

Суетная гордость наполнила мою душу:

— Вотъ,—подумалъ я.—Значитъ, есть же во мнѣ, что-то до того привлекательное, что даже незнакомый человѣкъ подъ вліяніемъ этого гипнотического обаянія готовъ отдать сокровище за десятую долю стоимости.

— Увы, голубчикъ,—вздохнулъ я. У меня и всего то есть только пятьдесятъ лиръ.

— Ну, давайте.

— Красиво ли это будетъ,—вскричалъ я въ благородномъ порывѣ, — если я воспользуюсь вашей неосвѣдомленностью! Знайте же, о, продавецъ, что тотъ господинъ оцѣнилъ ваши брилліанты въ полторы тысячи!.. Онъ говоритъ: чистая вода.

— А Богъ съ ними... Куда я ихъ дѣну?..

О, бѣдное непрактичное дитя!

Сердце мое дрогнуло жалостью...

— Ну... пойдемъ со мной въ магазинъ! У меня есть знакомый ювелиръ!.. Я попрошу, онъ вамъ заплатить не менѣе тысячи!

— Нѣтъ, какіе тамъ магазины... Не пойду я... Начнутся разспросы: что да какъ?

— Послушайте, — прошепталъ я, и моя честная кровь застыла въ не менѣе честныхъ жилахъ:—Честнымъ ли способомъ пріобрѣтены эти драгоцѣнности?!

— Ну, что вы господинъ! За кого вы меня принимаете...

— О, простите, простите,—бросился я къ нему,

въ раскаяніи пожимая его руку.—Я, было, усумнился, но вѣдь это такъ понятно... И, повѣрьте, если бы у меня было лиръ восьмьсотъ...

— Берите за пятьдесятъ одну штуку!..

— О, нѣтъ, нѣтъ, Это было бы неблагородно по отношенію къ вамъ! Вѣдь я же вижу, что вы можете получить въ десять разъ больше... Вотъ зайдемъ въ этотъ ювелирный магазинъ, я устрою...

— Въ этотъ? Именно въ этотъ? Зайдемъ.

Передъ намѣченнымъ нами магазиномъ стоялъ человѣкъ безъ шапки, очевидно, приказчикъ, вышедший подышать свѣжимъ воздухомъ.

— Куда вы?—растопырилъ онъ руки.—Магазинъ на полчаса закрытъ. Провѣрка. Приходите черезъ полчаса. А что вы хотѣли?

Мой спутникъ довѣрчиво раскрылъ коробочку.

— Ахъ, какая прелестъ!—вскричалъ приказчикъ, совершилъ ослѣпленный.—Каратовъ по пяти! Постойте, куда жъ вы?!

Владѣлецъ брилліантовъ пошелъ впередъ, а человѣкъ съ наружностью ювелирнаго прикащика схватилъ меня за руку и зашепталъ:

— Ради Бога не упускайте! Это пятикардники! Чистая вода! Купите у него, нашъ, магазинъ дастъ вамъ тысячи полторы! Приходите только черезъ полчаса. Не выпускайте!

Богатство сверкало тутъ же, можно сказать, передъ самымъ моимъ носомъ, ослѣпляло меня, но... имѣлъ ли я моральное право пользоваться наивностью довѣрчиваго простака?

— Ну, что?.. Покупаете, что ли?—обратился ко мнѣ этотъ чудакъ. (Онъ видѣлъ, что я колебался).

— Но... у меня только пятьдесятъ лиръ!..

— Берите! Все равно,—беззаботно махнулъ онъ рукой.

Дрожа отъ тайной радости, я засунулъ руку въ карманъ и вынулъ пятьдесятъ лиръ... О, что мнѣ сейчасъ эти жалкіе гроши, когда черезъ часъ я буду обладателемъ сотенъ...

— Вы мнѣ дайте тотъ, который побольше,—жадно прошепталъ я.

— Пожалуйста!

Я протянулъ руку къ брилліанту, и вдругъ... кроткій образъ—мое умершай невѣсты будто заглянулъ съ неба мнѣ въ душу. „Правъ ли ты, обманывая своего ближняго“—прозвучаль голосъ съ небесъ.

— „О Мэри,—воскликнул я внутренно.—Простишь ли ты меня? О, Мэри, это была только минута слабости!“

Взоръ мой просвѣтлѣлъ... Я спряталъ деньги обратно въ карманъ и твердо сказалъ:

— Нѣтъ, другъ мой, это было бы преступленіемъ въ отношеніи васъ! Такая драгоцѣнная вещь за гроши... о, нѣтъ!.. Я дамъ вамъ рекомендательное письмо къ одному моему богатому пріятелю, а для него полторы-две тысячи лиръ по справедливой оцѣнкѣ ювелира... Куда-жъ вы?!

Онъ взглянулъ на меня непередаваемымъ взглядомъ и замѣшался въ толпѣ.

О, Мэри! Только ради тебя оттолкнулъ прятаную руку, полную роскоши, красоты и богатства!..

Ничего не понимаю.

Вчера одинъ знакомый восторженно рассказывалъ мнѣ о томъ, что купилъ онъ по случаю на Перв. .. четырехкаратникъ“ за 35 лиръ...

— Это нѣчто изумительное! — кричалъ онъ. — Это чудо природы!

Пошли мы оба сбывать перлъ природы въ ювелирный магазинъ—хозяинъ предложилъ за „перлъ“ 15 діастровъ.

Какъ катастрофически падаютъ цѣны на бриллианты!

Заключеніе

Снова перечиталъ я свой „Записки Простодушнаго“ и, сидя сейчасъ за письменнымъ столомъ, призадумался...

Точно ли я теперь такой „Простодушный“ какимъ былъ тогда, когда яснымъ лицующимъ взоромъ, оглядывая пеструю Галату, высаживался на Константинопольскій берегъ, въ полной увѣренности, что ожесточенная борьба хамаловъ изъ-за моихъ вещей—результатъ радости при встрѣчѣ восточныхъ поклонниковъ съ русскимъ писателемъ. Точно ли я таковъ теперь, какимъ былъ тогда?..

О, нѣтъ. Гляжу я искоса въ зеркало, высящее въ простѣнкѣ,—и нѣтъ больше простодушія въ выраженіи лица моего...

Какъ будто появилось что-то себѣ на умѣ, что-то хитрое, что-то какъ будто даже жестокое.

А, можетъ быть, эти рѣзкія складки около губъ—результатъ дорого пріобрѣтеної мудрости?

Во всякомъ случаѣ—умеръ Простодушный...

Доконалъ Константинополь русскаго Простодушнаго.

Цѣлый рядъ лѣтъ еще промелькнетъ передъ нами... Но всѣ эти годы уже будутъ обвѣяны мудростью, хитростью и, можетъ быть—жестокостью.

Выковали изъ нась,—благодушныхъ, мягкихъ, ласковыхъ дураковъ—прочное желѣзное издѣліе...

АРКАДІЙ АВЕРЧЕНКО.

Оглавлениe.

Предисловіе Простодушнаго	—	—	—	стр.	5
I. Первый день	—	—	—	—	« 9
II. Галантная жизнь	—	—	—	—	« 12
III. Дѣловая жизнь	—	—	—	—	« 16
IV. Русскія женщины	—	—	—	—	« 19
V. Русское искусство	—	—	—	—	« 25
VI. Звѣринецъ	—	—	—	—	« 30
VII. Второе посѣщеніе звѣринца	—	—	—	—	« 35
VIII. Оккультныя тайны Востока	—	—	—	—	« 39
IX. Лотто-Томбola	—	—	—	—	« 45
X. О гробахъ, тараканахъ и пр.	—	—	—	—	« 49
XI. Еще гробъ	—	—	—	—	« 52
XII. Благородная дѣвушка	—	—	—	—	« 56
XIII. Русскіе въ Византіи	—	—	—	—	« 62
XIV. Аргонавты и золотое руно	—	—	—	—	« 67
XV. Развороченный муравейникъ	—	—	—	—	« 71
XVI. Великое переселеніе народовъ	—	—	—	—	« 73
XVII. Трагедія русскаго писателя	—	—	—	—	« 78
XVIII. Языкъ боговъ	—	—	—	—	« 83
XIX. Брилліантъ въ 3 карата	—	—	—	—	« 88
Заключеніе	—	—	—	—	— « 93

ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ АТЕЛЬЕ
АРКАДІЯ АВЕРЧЕНКО

ДВѢНАДЦАТЬ ПОРТРЕТОВЪ

ЗНАМЕНИТЫХЪ ЛЮДЕЙ ВЪ РОССИИ

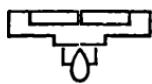
1923

ДВѢНАДЦАТЬ ПОРТРЕТОВЪ
ЗНАМЕНИТЫХЪ ЛЮДЕЙ ВЪ РОССИИ

АРКАДІЙ АВЕРЧЕНКО

ДВѢНАДЦАТЬ ПОРТРЕТОВЪ

(ВЪ ФОРМАТЪ «БУДУАРЪ»)



ПАРИЖЪ — БЕРЛИНЪ — ПРАГА — С.-ПЕТЕРБУРГЪ
1923

О ТЪ А В Т О Р А.

Эта книжка портретовъ — нѣчто среднее между портретной галлереей предковъ и альбомомъ карточекъ антропометрическаго бюро при сыскномъ отдѣленіи.

Во всемъ томъ, что происходитъ въ Россіи, чрезвычайно большую роль сыгралъ Александръ Керенскій. Поэтому я и отвожу ему въ своей портретной галлереѣ цѣлыхъ три мѣста.

Я не далъ портретовъ Ленина и Троцкаго, потому что эти два знаменитыхъ человѣка и такъ уже всѣмъ навязали въ зубахъ.

Вмѣсто нихъ я даю портреты ихъ женъ. Это — элегантнѣе и свѣжѣе.

Какъ я ни хитрилъ, а въ заключеніе долженъ признаться, что изъ всей портретной галлереи мнѣ симпатичнѣе всего послѣдній портретъ — Балтійскаго матроса, въ лицѣ Шкляренко и Бондаря . . .

Аркадій Аверченко.

МАДАМЪ ЛЕНИНА

Лошадь въ Сенатѣ.

Былъ въ Римѣ такой человѣкъ по имени императоръ Каллигула, а по характеру большой чудакъ... Была у Каллигулы лошадь, которую онъ до того любилъ, что однажды приказалъ сенату выбрать ее въ сенаторы.

Ну, разъ такой человѣкъ, какъ Каллигула, приказываетъ — ослушаться неловко: обидится.

И выбрали лошадь въ сенаторы.

И сидѣла она въ сенатѣ.

*

Вся дѣятельность россійскихъ правителей заключается теперь въ «затыканіи за поясъ» и «утираніи носа».

Заткнули за поясъ Нерона.

Заткнули за поясъ Іоанна Грознаго.

Утерли носъ испанской инквизиціи.

Утерли носъ Варфоломеевской ночи.

*

А совсѣмъ недавно очень искусно утерли носъ и заткнули за поясъ и лошадь Каллигулы.

Да и въ самомъ дѣлѣ, что такое лошадь Каллигулы? Мальчишка и щенокъ! Сидѣла она смирно, положивъ переднія ноги на столъ, и если пользы никакой не приносила, то и особаго вреда не дѣлала.

Въ Совѣтской Россіи появилась новая лошадь Каллигулы — мадамъ Ленина, жена правителя.

Да что одна лошадь Каллигулы!

Передъ мадамъ Лениной поблѣднѣвъ цѣлый табунъ римскихъ лошадей...

Газеты эпически рассказываютъ, что сдѣлала эта активная «лошадь, допущенная въ Сенатъ».

Во время первомайскихъ торжествъ около пятистотъ дѣтишекъ, предводительствуемыхъ новой лошадью Каллигулы — все это, кромѣ лошади, оборванное, голодное, истощенное — отправились на прогулку въ авиационный паркъ.

Разъ всѣ обыкновенные парки для прогулокъ вырублены — ясно: лошадь должна вести своихъ маленькихъ плѣнниковъ въ авиационный паркъ.

Когда будуть разобраны на дрова всѣ обыкновенные театры — Лошадь отведеть свое маленькое умирающее войско въ анатомической татарѣ.

Въ паркѣ погуляли, подышали бензиновымъ воздухомъ, потомъ Лошадь выстроила свою босоногую команду и спросила:

— Хотите ли вы, дѣтки, конфектъ?

Только тихий стонъ пронесся по рядамъ.

— Ну, вотъ. Если хотите, то становитесь на колѣнки и просите у вашего Бога конфектъ.

Бѣдныя запуганныя, затруженныя дѣти опустились на колѣни и завопили въ небо:

— Боженька, дай намъ конфектъ!

Лошадь сдѣлала пятиминутную паузу и потомъ, хитро усмѣхаясь, проржала:

— Вотъ видите — какой же это Боженька, который не исполняетъ вашей просьбы... Это все одинъ обманъ. А теперь станьте на колѣни и скажите: «Третій интернаціональ, дай намъ конфектъ!».

Петербургскіе дѣтишки теперь такой народъ, что если ты ихъ заставишь просить конфектъ у бурой свиньи гоголевскаго Ивана Никифоровича — они и тутъ покорно станутъ на колѣни.

Опустились дѣтки на колѣни и, простирая руки, завопили въ небо:

— Третій интернаціональ! Дай намъ конфектъ!

И что же? О чудо! Сейчасъ же неподалеку поднялся аэропланъ, закружился надъ дѣтишками и сталъ осыпать ихъ плохими паточными леденцами. Дѣти боролись, возились и дрались на грязной землѣ, чтобы больше захватить драгоценнаго лакомства, а Лошадь изъ Сената стояла тутъ же и, довольная, радостно ржала.

А еще вотъ для Лошади хорошій рецептъ: взять голоднаго ребенка и съ помощью хорошей

розги выдрессировать для слѣдующей штуки: положивъ на нось кусочекъ бѣлой булки, сказать:

— Во имя Божіе — ѿшь!

Выдрессированный ребенокъ стоить, какъ каменный, и смотрить на васъ собачьими глазами.

— Во имя справедливости и милосердія — ѿшь!

Стоить ребенокъ какъ каменный.

— Во имя Третьяго Интернаціонала — пиль!

Кусочекъ булки моментально взлетаетъ и чрезъ секунду хрустить на голодныхъ зубахъ.

Вотъ настоящая забава — даже не для самого Каллигулы, а для его Лошади... Каллигула просто зарѣжетъ ребенка, но не станетъ надѣяться измыться.

★

Интересно, когда Лошадь послѣ праздника вернулась въ свою роскошную конюшню — пришла ли ей хоть на секунду въ убогую лошадиную голову такая мысль:

— Мы издѣваемся надъ именемъ Божіимъ и топчемъ Его въ грязь. А Онъ нась не наказываетъ — значитъ, Его нѣтъ.

И если она это подумала, то наружно въ этотъ моментъ ничего не случилось, громъ не загремѣлъ, молнія не засверкала и потолокъ не расплющилъ Лошади.

Но гдѣ-то въ безпредѣльной высотѣ и глубинѣ взметнулся невидимый жесткій и сухой бичъ и хлестнуль поперекъ всея Россіи...

Земля потрескалась, злаки приникли къ раскаленной почвѣ и двадцать миллионовъ народа — того народа, который допустилъ среди себя хулу и униженія Бога — поползли съ родныхъ мѣсть невѣдомо куда, устилая трупами сухой проклятый путь свой...

МАДАМЪ ТРОЦКАЯ

Шапка Мономаха.

Сегодня мадамъ Троцкая никого не принимаетъ. У нея съ утра мигрень, кислое настроение, и даже ея постоянные посѣтители, два Аякса — Клембовскій и Гуторъ, просидѣвши въ передней сорокъ минутъ — уѣхали, не повидавъ своей повелительницы.

Только когда доложили о приходѣ ея любимца — генерала Парскаго — мадамъ Троцкая немножко оживилась и приказала просить.

— Ахъ, монъ женераль, — протянула она, каприсно выпятивъ губки, — у меня сегодня такое настроение, что впору самой къ стѣнкѣ стать.

— А что такое? — озабоченно спросилъ Парскій, склоняясь къ протянутой ручкѣ.

— Скучно. Мнѣ чего-то хочется, а чего — и сама не знаю. Знаете что, генераль. Я хочу, чтобы вы устроили мнѣ дворъ.

— А что? Опять грязь развели каналы? Сегодня же прикажу вымести и убрать пустые ящики.

— Какой вы смѣшной, монъ женераль. Я вамъ не о такомъ дворѣ говорю, который изъ окна виденъ, а о настоящемъ придворномъ дворѣ. У насъ при дворѣ нѣть настоящаго блеска, настоящаго изящества, а Левѣ хоть колъ на головѣ теши — никакого вниманія. Я пробовала сама что-нибудь сдѣлать — ничего не выходитъ.

— Да, это трудно, — призадумавшись, отвѣчалъ Парскій.

— Еще бы. Вы знаете, я основала благотворительное общество Краснаго Креста и попросила назначить себя почетной предсѣдательницей и покровительницей — а что вышло? На первомъ же торжественномъ засѣданіи секретарь общества стащилъ у меня соболій палантинъ и вымѣнялъ на полъ пуда сахару.

— Неужели только полъ пуда дали? — оживился Парскій.

— Ахъ, монъ женераль, вы совсѣмъ не тѣмъ интересуетесь, чѣмъ надо. Полъ пуда или пудъ — сѣть эгалъ. Пришло мнѣ позавчера въ голову — имѣть своею придворнаго поэта — помните, какъ Мольеръ былъ. Я и позвала Маяковскаго. Посидѣлъ полчаса, выпилъ полторы бутылки коньяку, набилъ всѣ карманы печеньемъ, обкусалъ ногти, плюнуль три раза на коверъ и ушелъ, даже не попрощавшись. Неужели и Пушкинъ и Лермонтовъ были такие? Генераль, устройте мнѣ дворъ!

— Понимаете, это очень сложная вещь. Нужно, чтобы было много блестящей молодежи... У Вас есть родственники?

— Конечно, есть. И въ Житомірѣ есть, и въ Елисаветградѣ. Одинъ племянникъ, Сеня — онъ на станції Одесса-Товарная съ хлѣбомъ работалъ — на дняхъ заявляется ко мнѣ и просить: «Тетя, — говорить, — вы теперь совсѣмъ, какъ королева — сдѣлайте меня виконтомъ». — «Сеня, — говорю я ему, — какой изъ тебя можетъ быть виконтъ, когда ты каучуковые воротнички носишь и у тебя всегда подъ носомъ красно». — «Тетя, — говорить, — когда буду виконтомъ, вмѣсто линолевыхъ воротничковъ надѣну жабо, а что касается краснаго, такъ вы же сами знаете, что у меня хронический насморкъ».

— Да, — задумчиво покачалъ головой Парскій. — Этотъ, пожалуй, на роль петиметра не подойдетъ.

— Ну, развѣ же это не обидно? Теперь, когда мой Левочки разговариваетъ съ державами Согласія, заложивъ ногу-на-ногу, а руки въ карманахъ — такъ для этого же нуженъ пышный блескъ. А гдѣ онъ? Нужна придворная жизнь, а гдѣ она? Мадамъ Каменева совѣтовала мнѣ: — «Фаничка, — говоритъ она, — Фаничка! Набери себѣ побольше фрейлинъ и чтобы онѣ присутствовали при твоемъ ложеніи и вставаніи».

Это легко сказать — набери. А какъ я съ ними должна обращаться — я и не знаю. Могу

я послать ее сбѣгать въ Продкомъ за сотней папироſъ, или для этого пажъ долженъ быть? Должна я съ ними здороваться за ручку или онъ мнѣ должны цѣловать ручку? Прямо таки, цѣлый рядъ тяжелыхъ неразрѣшимыхъ вопросовъ. Генералъ, устройте мнѣ дворъ.

— А вы хотѣли бы, приблизительно, въ стилѣ какой эпохи?

— Что бы вы сказали про Наполеоновскій? Пышный дворъ, всѣ маршалы изъ солдатъ, Лева ходить одѣтый въ лососиновые штаны, а у меня талія высоко-высоко, совсѣмъ подъ груди. Мадамъ Каменева говорила мнѣ: «Фаничка, вамъ это замѣчательно пойдетъ».

— А, можетъ быть, Вамъ больше улыбается Екатерининская эпоха? — тономъ моднаго портного, предлагающаго ходкій фасончикъ, сказалъ Парскій.

— Это тоже ничего себѣ эпоха. Фижмы, парики, графъ Зубовъ. И мнѣ нравится, что Екатерина переписывалась съ Дидро и Вольтеромъ. Я тоже, знаете, попробовала написать Анатолю Франсу, да отвѣта не получила. Или марку забыла наклеить или тогда почта была лучше, чѣмъ теперь. А Луначарскій даже обѣщалъ, что Пролеткульть издастъ мою переписку съ Анатолемъ Франсомъ. Послушайте. А что вы скажете о дворѣ Людовиковъ?

— Хорошіе были дворы, — похвалилъ Парскій.

— И знаете, вы были бы моими тремя мушкетерами: вы, Готорь и Клембовский.

— А знаете, вы, действительно, напоминаете лицомъ Анну Австрійскую.

— Серьезно? Мерси. Ахъ, герцогъ Букотамъ, ахъ, брилліантовые наконечники! А Дзержинскій бытъ бы кардиналомъ Ришелье.... Да... Только вѣдь Людовики плохо кончили. Я не хотѣла бы для Левы такой карьеры.

— А не хотите Людовиковъ — возьмите эпоху Цезарей. Вотъ была красота, вотъ блескъ! Устройте циркъ на сто тысячъ человѣкъ и скажите Дзержинскому, чтобы онъ, вмѣсто своего дурацкаго «къ стѣнкѣ», выпускалъ на саботажниковъ дикихъ звѣрей. Жестоко, но красиво.

— А гдѣ же Дзержинскій дикихъ звѣрей достанетъ? Гамбургскій Гагенбекъ на товарообмѣнѣ не пойдѣтъ.

— А въ Зоологическомъ?

— Ну, действительно. Всѣ хищные давно передохли. Остались одни филины, да павлины. Такъ если этихъ звѣрей выпустить на голодныхъ буржуевъ, такъ не звѣри ихъ съѣдятъ, а они звѣрей слопаютъ. И потомъ эпоха Цезарей не для нашего климата...

— А, кстати, о климатѣ. Вы мнѣ прошлый разъ обѣщали дать записочку на два пуда дровъ.

— Да вѣдь вы въ прошломъ мѣсяцѣ уже получили.

— Не понимаю, чого вы жметесь, ваше королевское величество. Ваши предки раздавали придворнымъ, поддерживавшимъ ихъ престолъ, цѣлые города, помѣстя и лѣса, а изъ васъ дюжину полѣньевъ нельзя вытянуть.... Пишите записку!

— Ахъ, монъ женераль! Недаромъ намъ, правящимъ сферамъ, приходится часто восклицать: «какъ тяжела ты, шапка Мономаха!». Довольно съ Васъ будеть и пудика.

ФЕЛИКСЪ ДЗЕРЖИНСКІЙ

Кобра въ траєк.

Знаменитый Советский чекистъ и палачъ Феликсъ Дзержинскій, по словамъ газетъ, очень любить дѣтей. Онъ часто навѣщаетъ дѣтишекъ въ одномъ изъ приютовъ, находящихся въ его вѣдѣніи, и всегда нянчится съ малютками.

Въ дѣтскомъ пріютѣ — ликованіе:

— Дядя пріѣхаль! Дядя Феликсъ пріѣхаль!!

— Тише, дѣтки, не висните такъ на мнѣ. Вишь, ты, пузырь, чуть кобуру не порвалъ. Здравствуйте, товарищъ надзирательница. Ну, какъ поживаются мои сиротки?

— Какъ, сиротки? Что вы, товарищъ Дзержинскій! У нихъ у всѣхъ есть отцы и матери.

— Хе-хе. Были-сь. Были да сплыли. Этого бѣленькаго какъ фамилія?

— Зайцевъ.

— Ага, помню. Это совсѣмъ свѣженькій сиротка. Съ позавчерашняго дня. Впрочемъ, папочка его держалъ себя молодцомъ. Не моргнуль папочка. Какъ его зовутъ? Кажется, Володя? Володя! Хочешь ко мнѣ на колѣнку?

Покатаю, какъ на лошади. Вотъ такъ. Ну, цѣлый дядю. А это что за дичекъ? Почему волченкомъ смотришь?

— Это Чубуковыхъ сынишка. Все къ мамъ просится.

— Это какіе Чубуковы?.. Ахъ, помню! Она какія-то заговорщицкія письма хранила. Препикантная женщина! И съ огонькомъ... Мой помощникъ хотѣлъ за ней во время допроса приволокнуться, такъ она, представьте, полураздѣтая — прыгъ въ окно, да внизъ. Вдребезги! Передайте отъ меня сынишкѣ шоколадку. Ну, а ты, карапузъ? Какъ твоя фамилія?

— Федя Салазкинъ.

— А, Салазкинъ! Твой папа, кажется, профессоромъ?

— Н... не знаю. Его зовутъ Анатолій Львовичъ.

— Во-во. Въ самую точку попалъ. Бойкій мальчуганъ и, кажется, единственный — не сиротка. Ты по воскресеньямъ-то дома бываешь?

— Бываю.

— А папа письма какія-нибудь получаетъ?

— Получаетъ.

— Что за прелестный ребенокъ! Такъ вотъ, Федя, когда папочка получить письмечко — ты его потихоньку въ кармашекъ засунь, да мнѣ его сюда и предоставь. А я ужъ тебѣ за это, какъ полагается: и тянучка, и яблоко, румянецкое такое, какъ твои щечки. Только мамочки не проболтайся насчетъ письмечка, ладно? Ну, пойди, попрыгай!.. А ты, дѣвочка, чего плачешь?

— Папу жалко.

— Э-э... Это уже и не хорошо: плакать. Чего жъ тебѣ папу жалко?

— Его въ Че-ка взяли.

— Экіе нехорошіе дяди. За что же его взяли?

— Будто онъ планъ сдѣлалъ. А это и не онъ вовсе. Къ намъ приходилъ такой офицерикъ и онъ съ папочкой...

— Постой, постой, пузырь. Какой офицерикъ? Ты садись ко мнѣ на колѣни и разскажи толкомъ. Какъ фамилія-то офицера?...

— Какая у тебя красивая цѣпочка. А часики есть?

— Есть.

— Дай послушать, какъ тикаютъ.

— Ну, на. Ты слушай часики, а я тебя буду слушать.

— Постой, дядя Феликсъ! Ты, знаешь, у тебя точно такіе часы, какъ у папы. Даже вензель такой же... и буквочки. Послушай! Да это папины часы.

— Пребойкая дѣвченка — сразу узнала! Твой папочка мнѣ подарилъ.

— Значить, онъ тебя любить?...

— Еще какъ! Руки цѣловалъ. Ну, такъ кто же этотъ офицерикъ?

*

Уходя, дядя Феликсъ разнѣженно говорилъ:

— Что за прелестныя дѣти, эти сиротки! Только съ ними и отдохнешь душой отъ житейской прозы...

П Е Т Е Р С Ъ

Человекъ, который убилъ.

Есть такія классическія фразы, которыхъ будуть живы и свѣжи и черезъ 200, и черезъ 500, и черезъ 800 лѣтъ.

Напримеръ:

— Побѣжденнымъ народамъ нужно оставить только одни глаза, чтобы они могли плакать, — сказалъ Бисмаркъ.

— Государство — это я! — воскликнулъ Людовикъ XIV.

— Парижъ стоитъ мессы, — разсудилъ Генрихъ IV, мѣняя одно вѣрованіе на другое.

Впрочемъ, этотъ король показалъ себя съ самой выгодной стороны другимъ своимъ альтруистическимъ изрѣченіемъ:

— Я хотѣлъ бы въ супѣ каждого изъ моихъ крестьянъ видѣть курицу!

Мы не знаемъ, что хотѣли бы видѣть въ супѣ каждого изъ своихъ крестьянъ Ленинъ и Троцкій, но знаменитый глава чрезвычаекъ

Петерсъ выразился на этотъ счетъ довольно ясно и точно, и изрѣченіе его мы считаемъ не менѣе замѣчательнымъ, чѣмъ Генриховское.

Именно, по сообщеніямъ газетъ, когда къ нему, какъ къ главѣ города, явились представители ростовскихъ на-Дону трудящихся и заявили, что рабочіе голодаютъ — Петерсъ сказалъ:

— Это вы называете голодомъ?! Развѣ это голодъ, когда ваши ростовскія помойныя ямы биткомъ набиты разными отбросами и остатками?! Вотъ въ Москвѣ, гдѣ помойныя ямы совершенно пусты и чисты — будто вылизаны — вотъ тамъ голодъ!

Итакъ, ростовскіе рабочіе могутъ воскликнуть, какъ запорожскіе казаки:

— Есть еще порохъ въ пороховницахъ! Есть еще полныя помойныя ямы — эти продовольственные склады Совѣтской власти!

Почему-то фраза Петерса промелькнула въ газетахъ совершенно незамѣтно: никто не остановилъ на ней пристальнаго вниманія.

Это несправедливо! Такія изрѣченія не должны забываться...

Моя бы власть — да я бы всюду выпустилъ огромныя афиши съ этимъ изрѣченіемъ, выскѣкъ бы его на мраморныхъ плитахъ, впечатать бы его въ видѣ отдѣльнаго листа во всѣ дѣтскіе учебники, мои глашатаи громко возвѣщали бы его на всѣхъ площадяхъ и перекресткахъ:

— Пока въ городѣ помойные ямы полны — почему рабочіе говорятъ о голодѣ?..

*

Интересно, осматривалъ ли Г. Д. Уэлльсъ во время своего пребыванія въ Москвѣ — въ числѣ прочихъ чудесъ совѣтской власти — также и помойные ямы?

Если осматривалъ, то, навѣрноѣ, пришелъ въ восхищеніе:

— Вотъ это санитарія! Вотъ это чистота! Да на днѣ этой помойной ямы можно фоксъ-тротъ танцевать, будто на паркетѣ.

— А у насъ, въ Англіи, въ помойныхъ ямахъ дѣлается чортъ знаетъ что: огрызки хлѣба, куски рыбы, окурки сигаръ, птичья потроха, высохшіе сандвичи, корки сыру! Нѣть, совѣтская власть имѣеть большое, великое будущее, если даже въ грязной, неряшливої Москвѣ она ввела такую идеальную чистоту!

*

Интересно мнѣ также, какъ тов. Петерсъ будетъ организовывать продовольственную помощь изъ помойныхъ ямъ? Выдачу пайками? Но вѣдь пайки бываютъ трехъ или четырехъ категорій.

Очевидно, въ первую голову будутъ допущены къ пышному фрыштику рабочіе коммунисты — первая категорія. Когда они снимутъ самыя сливки — селедочныя головки и колбасную ко-

журу — робко подойдеть вторая категорія, просто рабочіе. Выберуть картофельную шелуху и мостолыгу лошадиной ноги, а все осталъное пусть доѣдаетъ третья категорія — буржуи и саботажники.

*

Если бы я былъ не писателемъ, а тюремщикомъ, и если бы Петерсъ попалъ ко мнѣ въ тюрьму, я устроилъ бы ему роскошную жизнь! Я кормилъ бы его до отвалу. Я бы каждый день закатывалъ ему обѣды изъ семи блюдъ, со сладкимъ.

Онъ бы у меня не голодалъ, ибо онъ самъ замѣчательно выразился:

— Пока существуютъ помойные ямы — голода не можетъ быть!

Меню бы у Петерса было такое:

Закуска:

Икра изъ ваксы, жестянка отъ анчоусовъ, яичная скорлупа, фаршированная зубочистками обернуаръ.

Супъ:

Консоме изъ мыльной воды а-ля Савонъ съ окурками, пирожки изъ папироcныхъ коробокъ съ пепельнымъ фаршемъ...

Рыба:

Селедочный позвоночный столбъ съ грибками, которые на стѣнкахъ.

Мясо:

Фрикассе Ра-Моръ, жареное на шкаръ въ мышеловкѣ.

Зелень:

Все, что уже позеленѣло. Приготовлено а-ля масседуанъ.

Птица:

Перо отъ старой дамской шляпы, соусъ сюпремъ.

Сладкое:

Шоколадная обертка, яблочная кожура, кофейная гуща.

*

Я не думаю, чтобы Петеръ имѣлъ право отказаться отъ такого обѣда.

Потому что, если даже такие великие люди, какъ Наполеонъ, Суворовъ и Петръ Великій, честно Ѳли пишу изъ общаго котла, то какое имѣютъ право отказаться отъ общаго котла наши циммервальдскіе Наполеоны, устроившіе изъ всей Великой Россіи одинъ общиі котель:

Помойную яму.

МАКСИМЪ ГОРЬКИ

Хлѣбъ въ выгребной ямѣ.

У Максима Горькаго есть одинъ разскѣзъ, который заканчивается такъ:

— Море смѣялось.

Ахъ, многоуважаемый, талантливый Алексѣй Максимычъ! Что тамъ море! Недавно вы сдѣлали нѣчто такое, отъ чего не только море — сухая потрескавшаяся русская земля могла разсмѣяться до истерики, деревья въ лѣсу, на-гибаясь къ землѣ и держась вѣтками за стволъ, скрипѣли отъ душившаго ихъ смѣха, мелкие рыбешки въ рѣкѣ вздулись, полопались и поиз-дыхали отъ хохота...

Ахъ, какъ вы можете разсмѣшить, Алексѣй Максимычъ!..

Если разскѣзъ вульгарной прозой то, что сдѣлалъ знаменитый пролетарскій «буревѣстникъ» — такъ вотъ какъ оно звучить:

Безъ малаго четыре года буревѣстникъ, «ломая крылья, теряя перья» отъ усердія — безъ малаго четыре года славословилъ буревѣстникъ совѣтскую власть.

Державинскія хвалебныя оды казались щенками передъ тѣмъ огромнымъ распухшимъ слономъ, коего создалъ Максимъ Горькій, написавъ лиющую, восторженную оду Ленину...

Въ той компаніи привычныхъ каторжниковъ и перманентныхъ убийцъ, которые правятъ Россіей, Максимъ Горькій былъ своимъ, хорошо принятымъ человѣчкомъ:

И въ почетному углу
Было мѣсто ему...

Правда, онъ былъ только зрителемъ этого нескончаемаго театра грабежей и убийствъ, но сидѣлъ онъ всегда въ первомъ ряду по почетному билету и при всякомъ курбетѣ лицедѣвъ — онъ первый восторженно хлопалъ въ ладошки и оглашалъ спертый «чрезвычайный» воздухъ мягкимъ пролетарскимъ баскомъ:

— Браво, браво! Оч-чень мило. Я всей душой съ вами, товарищи!

Онъ милостиво и снисходительно улыбался, когда его пылкіе друзья половину интеллигентіи, людей искусства и науки — выгнали за границу, четверть — оптомъ поставили къ стѣнкѣ, а оставшуюся четверть, какъ кроликовъ, приготовленныхъ для вивисекціи, заперли въ душныя вонючія клѣтки, приставили къ нимъ сторожемъ и «хранителемъ этого крольчаго музея» бывшаго директора кафе-шантана Адольфа Родэ — все это Горькій глоталъ — даже не какъ горькую цилюлю, а по-

добно — да простятъ мнѣ это сравненіе — подобно той коробочкѣнной свинѣ въ «Мертвыхъ душахъ», которая мимоходомъ сѣвла цыпленка и сама этого не замѣтила.

И вотъ, когда несчастные ученые кролики, доведенные до этого положенія на одну десятую, сотую, тысячную тѣмъ же Горькимъ, стали умирать отъ безкормицы, Горкій растрогался, сердце его умягчилось и пошелъ онъ къ финнамъ:

— Вотъ что, братцы... Тамъ у насть въ питомникѣ ученые содержатся, такъ того-этого... Мрутъшибко! Не будеть ли способія какого? Пожевать бы имъ чего, или изъ бѣльишака старенькаго, или тамъ саложишекъ. Пойдайте, Христа ради, знаменитымъ русскимъ ученымъ и писателямъ!..

Растрогались сумрачные финны:

— Извольте, — говорять. — Мы вамъ дадимъ кой-чего для ученыхъ, но такъ какъ все ваше начальство — воры и могутъ украсть для себя, то мы все собранное повеземъ сами.

Привезли въ Домъ ученыхъ и писателей и стали дѣлить:

— Александръ Пушкинъ! Вамъ полусаложки и двѣ банки сгущенаго молока! Иванъ Тургеневъ! Получайте исподнее, фунтикъ сахару и четверку чаю. Выпейте за здоровье богатой и могучей Финляндіи! Менделѣевъ! Свиного сала фунтъ, банка какао и пиджачная тройка — совсѣмъ почти еще крѣпенькая!

Получили Пушкины, Лермонтовы, Менделеевы и Пироговы по сверточку, какъ дворницкія дѣти на богатой елкѣ, и, сіяющіе отъ счастья, снова расположились по своимъ кѣткамъ.

Зашелъ потомъ Горкій — тоже сіяющій, — собралъ всю обшарпанную компанію Гоголей, Островскихъ и Лесгафтовъ и гаркнулъ:

— Ну, что ребята! Довольны тѣмъ, что я вамъ схлопоталъ?

— Много довольны, ваше пролетарское величество! — гаркнули въ отвѣтъ полумертвые отъ голода ребята, прижимая къ груди драгоценные сверточки.

— То-то и оно. Вы ужъ старайтесь, а я васъ не забуду. Молочка тамъ или фуфайку какую изъ сосновой шерсти — завсегда устрою.

— Благодаримъ покорнѣйше.

— А впрочемъ, что мнѣ изъ вашей благодарности — шубу шить, что ли? Вы бы мнѣ такой аттестатикъ выдали, адресокъ, гдѣ отписали бы, что такъ, моль, и такъ, чувствительно благодарны и не забудемъ по гробъ жизни. А я его въ рамочку да на стѣнку — пусть себѣ виситъ; вамъ написать — разъ плюнуть, а мнѣ пріятно.

И вотъ тогда-то и появилась эта потрясающая «благодарность Максиму Горкому отъ имени писателей и ученыхъ».

Писали, очевидно, голодные ученые эту благодарность, глотали соленныя слезы, а сами думали:

— Чортъ съ нимъ, напишемъ пожалостнѣе!..
Все-таки, съ Ленинымъ за ручку здоровается
и съ Троцкимъ на ты. Поблагодаримъ — а онъ,
можетъ, опять по полфунтика колбасы выдастъ
да по связкѣ баранокъ — оно, глядишь, дня
три еще протянуть и можно...

Голодъ — не тетка. Написали очень хлестко.

— Зарубежная эмигрантская Русь неправиль-
но опѣниваетъ благородную работу Горькаго.
Мы стоимъ ближе къ дѣлу и свидѣтельству-
емъ...

Бѣдные вы, бѣдные... Свидѣтельствуете! А
свободно ли вы свидѣтельствуете, знаменитые
ученые кролики, запертые въ вонючую клѣтку
на предметъ вивисекціи?

И когда писали вы — не звучала ли въ ва-
шихъ ушахъ знаменитая фраза Сквозника-Дму-
хановскаго:

— А если пріѣдетъ ревизоръ, да будетъ спра-
шивать — всѣмъ ли довольны, то чтобы отвѣ-
чали «всѣмъ довольны»... А то я другому не-
довольному такое неудовольствіе покажу, что...

Море смѣялось...

Море смѣется, Горькій смѣется, у Ленина, по
свидѣтельству того же Горькаго, «мелодичный
дѣтскій смѣхъ» — а намъ всѣмъ отсюда, из-
дали — плакать хочется...

Ө Е Д О Р Ъ Ш А Л Я П И Н Ъ

Хамелеонъ.

Нѣкто переводилъ и объяснялъ слово «хамелеонъ» такъ:

— Хамелеонъ — это хамъ, желающій полу-
чить миллионъ.

Не совсѣмъ грамотно.

Но, въ общемъ, вѣрно.

*

Одесскія газеты сообщали:

«Во время исполненія въ Маріинскомъ театрѣ оперы «Евгений Онѣгінъ» Ѹ. Шаляпинъ, пѣвшій Гремина, сорвалъ съ себя офицерскіе погоны и бросилъ ихъ въ оркестръ — въ знакъ протеста противъ наступленія бѣлогвардейцевъ на Петербургъ».

*

Вотъ маленькая исторія, которая заставила меня призадуматься.

Ибо, какъ сказалъ Шекспиръ, «въ этомъ безуміи есть нѣчто методическое».

До сихъ поръ всѣ также зигзаги Шаляпина объясняли просто его повышенной артистической нервностью, вліяніемъ момента, грандіознымъ подъемомъ и невѣроятнымъ напряженіемъ нервовъ на одну минуту. «Сдѣлалъ, моль, но сдѣлалъ, какъ въ бреду, самъ еще за пять минутъ до этого не зная, что сдѣлаетъ»...

Такъ было объяснено неожиданное пѣніе Ф. Шаляпинъ революціонной «Дубинушки» въ 1905 году.

Такъ было объяснено неожиданное колѣнно-преклоненіе на сценѣ Маріинскаго театра передъ государемъ въ 1909 году.

Такъ будетъ, вѣроятно, объяснено и срыва-ніе погонъ со своего офицерскаго мундира.

Нѣтъ, позвольте! Случай съ погонами — и именно случай съ погонами — наводить на самыя категорическія подозрѣнія: не были ли всѣ три поступка поступками, строго обдуманными и заранѣе тщательно выношенными, не были ли всѣ три поступка «экспромптами, приготовленными за недѣлю»?..

Вотъ мои соображенія:

Многіе, вѣроятно, знаютъ, что когда происходитъ тяжелая процедура разжалованія офицера, то ея казовую, самую эффектную сторону подготавливаютъ заранѣе: гдѣ-нибудь въ уголку подпарываютъ погоны и подпиливаютъ посерединѣ шпагу...

Понятно, для чего это дѣлается: карающая

власть, прочтя приговоръ, должна быстро и эф-фектно сорвать съ виновнаго погоны и бросить ихъ на полъ; должна вынуть изъ ноженъ шпа-гу и, ударивъ ею слегка о колѣно, далеко отбросить обѣ половинки въ разныя стороны...

Предварительныя приготовленія дѣлаются именно для того, чтобы не было смѣшнаго цир-кового, фарсоваго трюка, когда уцѣпился че-ловѣкъ за крѣпко пришитые погоны — тянетъ-потянетъ — оторвать не можетъ. Нельзя же таскать за собою человѣка за погонъ, минутъ пять пыхтя и надсаживаясь, нельзя же возиться со шпагой десять минутъ, обливаясь потомъ, колотя ею о распухшее отъ усилій колѣно, наступая на нее ногой и приглашая для завер-шенія усилій двухъ помощниковъ изъ публики.

Шаляпинъ слишкомъ хороший, учитываяющій всѣ эффекты, всѣ театральныя условности, всѣ красивыя мѣста — актеръ: Шаляпинъ очень хорошо знаетъ, что театральный портной, созда-вая мундиръ, создаетъ его на десятки лѣтъ, и поэтому всѣ части пригнаны очень крѣпко; портной, въ свою очередь знаетъ, что мундиру князя Гремина никогда не будетъ предстоять операція срыва погонъ; поэтому погоны при-шиты на десятки лѣтъ, на совѣсть!

И поэтому я утверждаю, что эффектная опе-рація срыва погонъ Шаляпинъ не была экспромтна, не была слѣдствиемъ бурно налетѣвшаго экстра-переживанія...

Шаляпинъ никогда бы себѣ не позволилъ на

сценѣ некрасиваго пыхтѣнія и возни съ не-
податливыми погонами.

Нѣтъ! Въ этомъ безуміи было что-то методи-
ческое:

— Гаврила! — сказалъ за день до спектакля
знаменитый басъ своему портному. — Гаврила!
Подпори на мнѣ погоны въ мундирѣ Гре-
мина!..

— Да зачѣмъ это вамъ, Федоръ Иванычъ?

— Не твое дѣло, братецъ! Тутъ, братъ, вы-
сокая политика, а ты — гнида! Сдѣлай такъ,
чтобъ на честномъ словѣ держались.

*

Но тогда — позвольте! Тогда и экспромтная
исторія съ «Дубинушкой» подмочена; тогда и
казусъ съ колѣнопреклоненіемъ очень мнѣ по-
дозрителенъ: да точно ли это бурные, неожи-
данные, сразу налетѣвшіе шквалы?!

Не было ли такъ:

1905 годъ. Кабинетъ жандармскаго полков-
ника...

Курьеръ докладываетъ:

— Господинъ Шаляпинъ хотятъ видѣть!

— А-а... Проси, проси!.. Какому счастли-
вому событию обязанъ удовольствіемъ видѣть
васъ, Федоръ Иванычъ?..

— Да такъ... зашелъ просто поболтать, —
сочнымъ басомъ отвѣчаетъ знаменитый пѣ-
вецъ. — Ну, что, революціей все занимаетесь,
крамолу ловите, хе-хе-хе.

— Да, хе-хе-хе! Приходится.

— Дѣло хорошее. Небось, все молодежь, все горячія головы?..

— Да... большей частью.

— Небось, все «Дубинушку» поютъ?

— Бываетъ.

— Что жъ вы имъ за эту «дубинушку»? Небось, въ каталажку?

— Ну, что вы! «Дубинушка» — дѣло у насть невинное... Ну, сдѣлаешь замѣчаніе, ну, поставилъ на видъ...

— Только-то? Ну, я пойду. Не буду мѣшать.

И въ тотъ же день Шаляпинъ бодро, грозно, эфѣктно, съ большимъ революціоннымъ подъемомъ спѣлъ «Дубинушку».

А окружающіе объясняли: такая минута подошла, когда даже камни воліютъ.

*

А въ лѣто 1909 года позвалъ однажды Шаляпинъ своего портного, вѣроятно, того же самого Гаврилу, и сказалъ ему:

— Завтра къ спектаклю нашей мнѣ на колѣнки штановъ, которые будуть на мнѣ, нашей изнутри по ватной подушечкѣ. Такъ, чтобы на самыя колѣни приходилось!..

— Да вѣдь некрасиво, Федоръ Ивановичъ... Выпучиваться будетъ.

— А ты не разсуждай. Политика, братъ, дѣло высокое, а ты — кто? Смердъ. Илотъ.

*

Такое мое мнѣніе, что когда Юденичъ войдетъ въ Петроградъ, въ первомъ ряду восторженаго населенія будетъ стоять Шаляпинъ и, сверкая чудесными очами, запоетъ сочнымъ басомъ «Трехцвѣтный флагъ» Мирона Якобсона.

— Вотъ тебѣ и Шаляпинъ, — благоговѣйно скажутъ въ толпѣ. — Не выдержало русское сердце — запѣлъ экспромтомъ что-то очень хорошее!

А экспромпъ этотъ былъ задуманъ въ тотъ самый день, когда Гаврила погоны подпрыгалъ: Гаврила погоны подпрыгалъ, а Исаика въ этотъ самый моментъ по порученію своего патрона тихо пробирался черезъ границу въ зону расположения Добровольческой арміи — за свѣженѣкимъ экземпляромъ «Трехцвѣтнаго флага».

*

Ахъ, широка, до чрезвычайности широка и разнообразна русская душа!

Многое можетъ вмѣстить въ себя эта широкая русская душа...

И напоминаетъ она мнѣ знаменитую «Плюшкинскую кучу». У Гоголя.

Помните? «Что именно находилось въ кучѣ — рѣшить было трудно, ибо пыли на ней было въ такомъ изобиліи, что руки всякаго касавшагося становились похожими на перчатки; замѣтнѣе прочаго высовывались оттуда отломлен-

ный кусокъ деревянной лопаты и старая по-
дошва сапога»...

Такъ и тутъ: все свалено въ самомъ при-
чудливомъ соприкосновеніи: царская жалован-
ная табакерка съ вензелемъ и короной, красная
тряпка залитаго кровью загрязненнаго флага,
грамота на званіе «солиста его величества», но-
ты «Интернаціонала» — и тутъ же замѣтно вы-
совыvается краешекъ якобсоновскаго «Трехцвѣт-
наго флага».

Мала кучка — крыши нѣту!

МАРТОВЪ И АБРАМОВИЧЪ

Сказка про бѣлаго бычка.

Существуютъ на свѣтѣ два молодыхъ человѣка — прекрасныхъ, какъ майское утро, и обаятельныхъ, какъ принцы изъ волшебной сказки...

Это — Мартовъ и Абрамовичъ.

Они — эсдеки.

Они издають газету «Социалистический Вестник».

И носятся слухи, что эту газету даже кто-то читаетъ. Лѣтомъ ея тиражъ больше, зимой меньше. Лѣтомъ, какъ известно, разводятся мухи — этоть бичъ населенія.

И вотъ, если разложить на столъ «Социалистический Вестник», онъ черезъ часъ почернѣетъ отъ дохлыхъ мухъ.

Очень полезно.

Если же подойти къ этой газетѣ, какъ къ материалу для чтенія, то у читателя получается ощущеніе, какое, вѣроятно, бываетъ у голодной собаки, когда озорной мальчишка даетъ ей про-

глотить кусокъ сала, привязанный къ крѣпкой бичевкѣ, и потомъ начнетъ подергивать за другой конецъ бичевки.

Я полагаю, что собака въ этомъ случаѣ питаетъ страстное желаніе вывернуться наизнанку, только чтобы избавиться отъ навязаннаго ей ощущенія.

Тѣ же эмоціи испытываетъ и читатель, рѣшившій проглотить однимъ духомъ соблазнительное изданіе Радика и Дудика — Мартова и Абрамовича.

Однажды я прочелъ въ этой газетѣ энергичный и трогательный протестъ противъ разстрѣловъ, практикующихся Совѣтской властью.

Мартовъ и Абрамовичъ категорически утверждали, что разстрѣль эсдековъ — возмутительный произволъ, и что эсдековъ большевики разстрѣливаютъ не имѣютъ права.

О не-соціалистахъ ничего не было сказано: значитъ, ихъ разстрѣливать можно.

Протестовали и правые эсъ-эры противъ разстрѣловъ правыхъ эсъ-эровъ и лѣвые эсъ-эры протестовали тоже противъ разстрѣла лѣвыхъ эсъ-эровъ.

Вышло какъ-то такъ, что меня — не эсдека и не эсъ-эра — можетъ всякая каналья разстрѣлять, и ни эсдекъ, ни эсъ-эръ даже не почешется.

Такъ какъ я человѣкъ беспартійный, то я собираюсь съузить этотъ принципъ еще больше: меня зовутъ Аркадій, и я накатаю обраще-

ніє ко всему міру съ протестомъ противъ разстрѣла всѣхъ Аркадіевъ.

Разъ человѣкъ носить поэтичное имя: Аркадій — не трожь его, скотина! Разстрѣливай Геннадіевъ или Аполлинаріевъ, если ужъ такъ тебѣ приспичило.

Другіе человѣки тоже могутъ организоваться по своимъ отличительнымъ признакамъ: брюнеты напишутъ протестъ противъ разстрѣла брюнетовъ, рыжіе станутъ грудью за рыжихъ, косоглазые за косоглазыхъ и привычные кретины за... впрочемъ, послѣдняго не надо. Уже сдѣлано.

*

Однако, какъ говорять французы — «вернемся къ нашимъ баранамъ» — къ Мартову и Абрамовичу.

Итакъ, они энергично протестуютъ: противъ разстрѣловъ эсдековъ, противъ удушенія эсдековской прессы и противъ невключения эсдековъ въ число правящаго класса.

А представьте вы себѣ такую картину: сидяще Мартовъ съ Абрамовичемъ у себя въ редакціи, тихо, мирно испускаютъ «Социалистический Вестник» — вдругъ является депутатція русскихъ мужиковъ и, повалившись въ ноги, заголосить:

— Земля наша очень велика и обильна, большевики вырѣзаны — прійтіе княжить и володѣть нами!

Пражскіе эсеры позеленѣютъ и лопнутъ отъ зависти, что не ихъ пригласили править, но Мартову и Абрамовичу уже не до нихъ: мало ли какие бѣдные родственники корчатся по переднимъ царственныхъ домовъ.

— Наша взяла! — радостно гаркнетъ Мартовъ и тутъ же покосится на Абрамовича, подумавъ: «Эхъ, хватиль бы тебя параличъ — можно бы тогда начать устраиваться безъ компаніоновъ!».

А Абрамовичъ крѣпко пожметъ Мартову руку и мелькнетъ въ его свѣтлой головѣ мысль:

— Эхъ, не руку бы тебѣ такъ сжать, а горло! Вѣдь, знаю, пойду въ Москву — сейчасъ же за мной потащишься!..

Но наружно оба будуть сіять и, ужимая колѣнами пухлые чемоданы, пообѣщають delegaciі:

— Разъ вы передаете власть въ наши эсдекскія руки — всякий произволъ и насилие прекратятся! Долой гнетъ печати, долой разстрѣлы и Че-ка!..

*

Вотъ и Москва развернула свои пышныя красоты передъ двумя новыми Рюрикомъ и Синеусомъ.

— Съ чего жъ мы начнемъ? — спросилъ дѣятельный Абрамовичъ. — Надо составить коалиціонное правительство!

Мартовъ поморщился:

— Значить, съ эсъ-ѣрами и кадѣтами?

— Съ какой радости? Что у насъ меньше-

никовъ мало, что ли? Составимъ коалиціонный кабинетъ изъ меньшевиковъ лѣвыхъ, меньшевиковъ правыхъ и меньшевиковъ такъ себѣ.

*

Пришелъ Абрамовичъ къ Мартову — лица на немъ нѣтъ:

— Вы послушайте какое хамство! Эсь-эры ругательски изругали насть въ своей газетѣ за то, что мы ихъ не включили въ кабинетъ! Можете представить — меня назвали бездарнымъ слизнякомъ! По-моему, эту ихъ паршивую газету нужно закрыть навсегда!

— Ну, положимъ, — усмѣхнулся Мартовъ. — Это недостаточный мотивъ для закрытія.

— А про васъ написали, что вы пузатый Калигула съ темпераментомъ скопца-мѣнялы!

— Гм... да. Тогда мотивы для закрытія, пожалуй, достаточны. Заготовьте ордерокъ.

*

Снова прибѣжалъ Абрамовичъ къ Мартову — снова лица на немъ нѣтъ. Вмѣсто лица — трагическая маска.

— Послушайте! Послѣ закрытія нами эсеровскихъ и кадетскихъ газетъ — эти каторжники совсѣмъ на стѣну полѣзли: получились свѣдѣнія, что они организуютъ заговоръ съ дѣлью насть свергнуть.

— Кукишъ съ масломъ! — воскликнулъ, съ царственнымъ жестомъ, Мартовъ. — Намъ нужно создать особый органъ, который слѣдилъ

бы за общественной безопасностью и раскрывать заговоры.

— Чрезвычайную Комиссию?

— Дубовая голова! Развѣ можемъ мы воскрешать Че-ка, вызвать къ жизни мрачныя страницы большевизма?! Нѣть, нужно создать Обыкновенную Комиссию.

— Значить Об-ка?

— Об-ка — это звучитъ спокойно и безобидно.

*

Черезъ годъ заграницей встрѣтились двое русскихъ.

— Вы какимъ образомъ изъ Россіи?

— Бѣжалъ отъ ужасовъ Об-ка.

*

Я не моралистъ, но я только хотѣлъ доказать читателямъ — что такое партійная власть.

Всякій человѣкъ, говорящій «А», неизбѣжно произносить и слѣдующую букву...

Когда разстрѣливаютъ всю Россію, а Чортъ Иванычъ протестуетъ только противъ разстрѣла Чертей Иванычей, такой человѣкъ у власти будетъ самымъ сугубымъ Нерономъ, только безъ его умѣнья играть на цитрѣ.

Партійные люди напоминаютъ бездарныхъ съ болѣзняннмъ самолюбiemъ актеровъ.

А вѣдь сказано:

— Не всякий императоръ на мѣстѣ Нерона былъ бы актеромъ, но всякий актеръ на императорскомъ мѣстѣ будетъ Нерономъ.

КЕРЕНСКІЙ

(Первый портретъ.)

Человѣкъ со спокойной совѣстью.

Существуетъ прекрасное русское выраженіе:
— Со стыда готовъ сквозь землю провалиться.

Такъ вотъ: я знаю господина, который долженъ
быть бы безпрерывно, перманентно проваливаться
со стыда сквозь землю.

Скажемъ такъ: встрѣтилъ тотъ господинъ
знакомаго, взглянуль ему знакомый въ глаза —
и моментально провалился мой господинъ сквозь
землю... Пронизалъ своей особой весь земной
шаръ, вылетѣль на поверхность тамъ гдѣ-ни-
будь, у антиподовъ, посмотрѣль ему встрѣчный
антинодъ въ глаза — снова провалился сквозь
землю мой господинъ и, такимъ образомъ, будь
у моего господина хоть какой-нибудь стыдъ —
онъ бы долженъ всю свою жизнь проваливаться,
пронизывая собою вещества земного шара по
всѣмъ направленіямъ...

Но нѣть стыда у моего господина и никуда
онъ ни разу не провалился; вмѣсто этого пи-

шеть пышная статья, иногда говорить пышная речи, живеть себѣ на земной корѣ, какъ ни въ чёмъ не бывало, и со взглядами встрѣчныхъ перекрещиваетъ свои взгляды, будто его хата совершенно съ краю.

А вѣдь, вдуматься — чортъ его знаетъ, что взваливаетъ жизнь на плечи этого чеговѣка:

Умеръ поэтъ Блокъ — онъ виноватъ.

Разстрѣляли чекисты 61 человѣка — ученыхъ и писателей — онъ виноватъ.

Умерли отъ голода 2 миллиона русскихъ взрослыхъ и миллионъ дѣтей — онъ виноватъ въ такой мѣрѣ, какъ если бы самъ передушилъ всѣхъ и каждого своими руками.

Милліоны русскихъ бѣженцевъ пухнутъ отъ голода, страдаютъ отъ лишеній, отъ униженій — онъ, онъ, онъ — все это сдѣлалъ онъ.

Господи, Боже ты мой! Да доведись на меня такая огромная, нечеловѣческая страшная отвѣтственность, я отправился бы въ знаменитый Уоллстонскій паркъ, выбралъ бы самое высокое въ мірѣ дерево, самую длинную въ свѣтѣ веревку — да и повѣсился бы на самой верхушкѣ, чтобъ весь міръ видѣлъ, какъ я страдаю отъ муки собственной совѣсти.

А мой господинъ, какъ говорятъ хохлы: и байдуже!

Навѣрное, въ тотъ моментъ, какъ я пишу, сидить гдѣ-нибудь въ ресторанчикѣ «Золотой Праги», кушаетъ куриную котлетку съ гарниромъ и, запивая ее темнымъ, пѣнистымъ пражскимъ

пивомъ, не моргнувъ глазомъ, читаетъ извѣстія изъ Россіи:

— До сихъ поръ голодъ унесъ до трехъ миллионовъ русскихъ. Къ декабрю должны умереть около десяти миллионовъ, а къ марта, если не будетъ помощи извнѣ — перемретъ вся Россія. («Общее Дѣло». Письмо изъ Петербурга.)

Котлетку кушаете?

Пріятнаго вамъ аппетита, Александръ Федорычъ! Неужели, не подавитесь вашей котлеткой?

Счастливый народъ—эти люди безъ стыда, безъ совѣсти... Невинностю дышетъ открытое лицо, ясные глазки простодушно поглядываютъ на окружающихъ, и весь видъ такъ и говоритъ:

— А что жъ я? Я ничего. Всегда себя превосходно, былъ и главнокомандующимъ и митрополитомъ, и если мнѣ еще не поставили въ Россіи памятника, то это только потому, что пѣть пророка въ отечествѣ своемъ...

Пока вы безмятежно кушаете котлетку, Александръ Федорычъ — позвольте мнѣ ознакомить васъ съ вашимъ формулѣромъ, и- если хоть одинъ прожеванный кусокъ застрянеть въ вашемъ горлѣ, значитъ — есть еще Богъ въ небѣ и совѣсть на землѣ...

*

Знаете ли вы, съ какого момента Россія пошла къ погибели? Съ того самаго, когда вы, глава

России, пріѣхали въ министерство и подали курьеру руку.

Ахъ, какъ это глупо было и, — будь вы другой человѣкъ — какъ бы вамъ должно быть сейчасъ мучительно стыдно! Вы тогда думали, что курьеръ такой же человѣкъ, какъ вы. Совершенно вѣрно: такой же. И глаза на мѣстѣ, и кровообращеніе правильное. Но руки ему подавать не слѣдовало, потому что дальше произошло вотъ что: въ первый день вы ему, курьеру, протянули руку, во второй день уже онъ съ вами поздоровался первый (дескать, свой человѣкъ, чего съ нимъ стѣсняться), а на третій день, когда вы сидѣли въ кабинетѣ за министерскимъ столомъ, онъ безъ зова вошелъ въ перевалку, усѣлся на край стола и, закуривъ цыгарку, хлопнулъ васъ по плечу:

— Ну, Сашка-канашка, что новенькаго?

Еще и тогда быль неупущенный моментъ: дать ему по шеѣ, сбросить со стола и крикнуть: ты забываешься, каналья! П-шелъ вонъ!

Вы этого не сдѣлали, навѣрное, хихикнули, прикурили отъ его папироски и отвѣтили:

— Да вотъ помаленьку спасаю Россію.

Ахъ, какъ стыдно! Ну, на кой чортъ вы полѣзли со своимъ рукопожатіемъ къ курьеру? Развѣ онъ оцѣнилъ? Взбрался вамъ же на шею, гикнуль и погналъ васъ вскачъ не туда, куда бы вамъ хотѣлось, а туда, гдѣ ему удобнѣе.

Не спорю, можетъ быть, персонально этотъ курьеръ — обворожительно свѣтскій человѣкъ, но

вы вѣдь не ему одному протянули руку для пожатія, а всей наглой, хамской части Россіи.

Вскочилъ на вѣсъ хамъ, осѣдлалъ, какъ добра-го скакуна, и погналъ прямо на границу — встрѣтить Ленина и Троцкаго.

Не скажете ли вы, что вѣ прибытии Ленина и Троцкаго виноваты нѣмцы? Голубчикъ вы мой! Да вѣдь они воевали съ нами. Это было одно изъ средствъ войны. Такъ же они могли бы прислать и поѣздъ съ динамитомъ, съ баллонами удушливаго газа или съ сотней бѣшеныхъ собакъ.

А вы этихъ бѣшеныхъ собакъ приняли съ полковой музыкой и стали охранять такъ заботливо, какъ любящая нянька — шаловливыхъ дѣтей.

Ну, что я могу сказать нѣмцамъ? Скажу: зачѣмъ вы прислали намъ такую ошеломляющую дрянь?

А они мнѣ отвѣтятъ:

— Вольно же вамъ, дуракамъ, было принимать. Мы бы, на вашемъ мѣстѣ, тутъ же на границѣ ихъ и перевѣшли, вродѣ, какъ бываетъ атака удушливыхъ газовъ и контрѣ-атака.

А вы? Обрадовались! Товарищи, моль, пріѣхали! «Здравствуйте, я — ваша тетя! Говорите и дѣлайте, что хотите, у насъ свободы».

И еще одинъ моментъ былъ упущенъ, помните, тогда, у Кшесинской? Одна рота вѣрныхъ сол-датъ — и отъ всей этой сволочи и запаху бы

не осталось. И никто не ропталъ бы — такъ бы и присохло.

А вы, вмѣсто этого, стали гонять вашего министра Переверзева на поиски новой квартиры для Ленина и Троцкаго.

Александръ Федоровичъ! Какая у васъ звидная натура... Вѣдь одно это такъ стыдно, будто васъ всепарадно на столичной площади высыкли. А вы теперь, вмѣсто Уоллстонского парка, котлетку кушаете, какъ гоголевскій выскученный поручикъ когда-то ъль пирожокъ.

Много есть людей, у которыхъ ужасное прошлое, но ни одного я не знаю, у кого бы было такое стыдное прошлое, какъ у васъ. Еще, я понимаю, если бы вы за это деньги получили, но вѣдь бесплатно!

У васъ въ рукахъ былъ такой козырь, какъ возстаніе, когда озвѣрѣвшая толпа (я самъ видѣлъ) разрывала большевиковъ на части — какъ вы ликвидировали это настроеніе? Вы, глава государства, запретили печатать документы, уличающіе Ленина и Троцкаго въ полученіи отъ нѣмцевъ денегъ! Троцкій сидитъ въ тюрьмѣ — вы его выпустили, Корниловъ хотѣлъ спасти Россію — вы его погубили. Клялись умереть съ демократіей — удрали на автомобилѣ.

«Волю Россіи» издаете? Куриныя котлетки кушаете?

Съ такимъ-то прошлымъ?

Да вѣдь только два пути и существуетъ: или самое высокое дерево Уоллстонского парка, или

монашескій клубукъ, вериги и полная перемѣна имени и фамиліи, чтобы въ маленькомъ монастыркѣ не пахло и духомъ того человѣка, который такъ тщательно, заботливо и аккуратно погубилъ одну шестую часть земной суши, сгноилъ съ голоду полтораста миллионовъ хорошаго народа, того самаго, который въ мартѣ 1917 года выдалъ вамъ авансомъ огромные, прекрасные векселя.

Ловко вы обошлись съ этими векселями!..

Ну, прощайте. Пріятнаго вамъ аппетита!

К Е Р Е Н С К И Й

(Второй портретъ.)

Добрый товарищ.

Однажды мнѣ снился сонъ... А, впрочемъ, къ чему тамъ жеманничать: никакого сна мнѣ не снилось. Все было на яву, а на сонъ писатели, обыкновенно, сваливаютъ потому, что это считается щегольскимъ литературнымъ пріемомъ.

Дешевый пріемъ, по-моему.

Итакъ, на яву произошло вотъ что:

*

Александръ Керенскій сѣлъ въ вагонъ поѣзда, идущаго изъ Парижа, намѣреваясь пройхать всего четыре станціи, и заговорился — проѣхалъ гораздо дальше.

Собственно заговаривался онъ и прежде, но не съ такими ужасными для него послѣдствіями, какъ на этотъ разъ.

А именно: когда онъ заканчивалъ передъ столпившимися любопытными пассажирами свою одиннадцатую рѣчъ о величіи будущей Россіи,

поездъ вдругъ остановился, и въ вагонъ ввалилась толпа пограничниковъ...

Ошибиться было невозможно: всѣ они были увѣшаны ружьями, револьверами, на груди у всѣхъ красовались красныя звѣзды, а на звѣздахъ было написано чёрнымъ по красному: «Р. С. Ф. С. Р.»...

Керенскій даже икнулъ отъ неожиданности и зашатался отъ ужаса:

— Господи! — подумалъ онъ. — Нынѣ отпушающи раба твоего... Отречемся отъ старого міра... Крестьянинъ ахнуть не успѣлъ, какъ на него медвѣдь насыль... Мелькнула шашка — разъ и два — и покатилась голова...

— Товарищи! — проревѣлъ чей-то радостный голосъ, — никакъ самъ Керенскій?! Важнаго карася поймали! Волоки его къ самому къ Троцкому — онъ за него можетъ тыщу пайковъ отсыпеть на рыло!

Повели.

*

Сколько времени прошло, и какъ, и по какимъ дорогамъ его вели — Керенскій даже долгое время спустя не могъ вспомнить.

Очнулся впервые онъ только тогда, когда охрана, топоча ногами, ввела его въ пріемную и сказала:

— Подожди тута. Сичасъ, братъ, самъ Троцкій выйдетъ.

— «Самъ Троцкій»... — вздохнулъ Керен-

скій. — Интересно, какъ онъ будетъ мучить меня?.. Навѣрно, папиросками будетъ жечь тѣло и запускать подъ ногти деревянныя лучинки... А то и просто застрѣлить, какъ собаку.

Дверь изъ кабинета быстро распахнулась. Керенскій покосился однимъ глазомъ и увидѣлъ въ одной рукѣ Троцкаго револьверъ, въ другой — широкій ножъ.

— «Начнемъ, пожалуй», — вспомнились ему слова Ленскаго передъ смертельной дуэлью.

Но, приглядѣвшись, онъ замѣтилъ, что не револьверъ былъ въ рукѣ Троцкаго, а портсигаръ, и не широкій ножъ въ другой рукѣ, а самаго симпатичнаго вида безобидная коньячная бутылка.

— Сейчасъ ахнетъ бутылкой по головѣ, — подумалъ страдалецъ.

— Господи! Кого я вижу! Саша, голубчикъ!! Какими судѣбами?.. Пойдемъ ко мнѣ въ кабинетъ. Вотъ-то нечаянная радость! А мнѣ какъ разъ нынче всю ночь красный попугай снился! Къ чему бы это, думаю. Все клювикомъ меня за ухомъ щекоталъ. Ну, братъ, разодолжилъ. Радъ, очень радъ тебя видѣть. Какъ живешь? Папироску можно? Сигарку? А то, можетъ, коньячку рюмочку трахнешь съ дороги? Какъ дѣла? Да ты садись, чудакъ — чего стоишь? А мы тебя, братъ Саша, часто съ Володей и Анатоліемъ вспоминаемъ! Да-а... Хорошія времена были. Помнишь, какъ мы съ Володѣй съ балкона Клесинской мантифоліи разводи-

ли... Подумать только — на четыре года моложе были. А помнишь, какъ ты — ах-ха-ха! гонялъ министра Переверзева для анархистовъ помѣщеніе подыскивать? Да, братъ Саша, много воды утекло.

— А онъ, однако же, не гордый, — совсѣмъ успокоившись, подумалъ Керенскій словами голевскаго героя. — Обо всемъ разспрашивается.

— Кстати, Саша! А я передъ тобой въ долгу.

— А что такое?

— Да за газету-то, что вы въ Прагѣ съ Зениновымъ выпускали... Здорово поддержали, шельмѣцы.

Троцкій подошелъ къ огромному желѣзному шкафу, звякнулъ около него ключами и, обернувшись, спросилъ:

— Сколько?

— Чего сколько?

— Сколько я тебѣ за газетку долженъ?..

— Что ты, — смутился Керенскій. — Мы... совершенно бесплатно.

— Да что ты?! Прямо первый разъ слышу. А съ нась, братъ, всякий тянетъ, кому не лѣнъ. И «Дэйли-Геральдъ», и «Юманите», и всякая тамъ рвань. Ну, спасибо. Поддержалъ. Да у тебя чего видѣть такой нездоровы? Усталъ?

— Да съ дороги, знаешь... Кхм!

— Ты береги здоровье, Саша. Оно пригодится. Хочешь мы тебѣ профессора пришлемъ?.. Да! А вѣдь я тебя забыть, шельмѣда, за самое главное поблагодарить!

— А что такое?

— Да за Врангеля. Если бы не твоя заграничная работишка — едва ли бы мы съ нимъ справились. Ловко ты его угробилъ.

Троцкій снова подошелъ къ тяжелому шкаfu, снова мелодично звякнуль ключами и обернулся:

— Сколько?

— Чего сколько?

— Да за Врангеля. Мы, братъ, въ долгъ никогда не остаемся — всякий трудъ долженъ оплачиваться.

— Помилуй, — смутился снова Керенскій. — Да я совершенно бесплатно.

— Чортъ васъ знаетъ, что вы за народъ, — засмѣялся Троцкій. — Не отъ міра сего. Я понимаю, если ужъ продавать что нибудь — такъ гони за это монету, а продавать и ничего не получать — на это способны только круглые идіо... идеологи! Гм... да. Вотъ мы тогда съ Володей маханули у этого нѣмчуры пятьдесятъ миллиончиковъ чистоганомъ, — глазомъ не моргнулъ, каналья, — далъ!

— А вы моргали? — пошутилъ Керенскій.

— За нась, братъ, другіе наморгались достаточно. Да-а... Ну, а мы, братъ, такъ вотъ и живемъ, хлѣбъ жуемъ. Всюемъ вотъ все. Кстати! А вѣдь я тебя за главное забыть поблагодарить — совсѣмъ изъ ума вонъ. Прямо, братъ, ты золотой человѣкъ у нась, на рукахъ тебя, канапку, носить бы надо!!

— За что?

— А за резолюцию обь интервенции. То есть такъ кстати, такъ кстати...

И снова около кассы послышался мелодичный звонъ ключей:

— Сколько?

— Лева, ты меня обижаешь...

— Ну, не буду, не буду. Надѣюсь, ты поживешь у насть, погостишь, осмотришься?

«Это, однако же, хорошо, — подумалъ Керенскій, — оставяты они меня у себя, а я возьму и покажусь населенію. Сейчасъ же меня подхватятъ на руки, устроятъ восстаніе, свергнутъ совѣты, народъ выберетъ меня»...

— Право, поживи. Ты не бойся, мы тебѣ охрану дадимъ — сотню красныхъ башкиръ...

— Отъ кого охрану? — удивился Керенскій.

— Какъ отъ кого? Отъ населенія. Я вѣдь ихнее настроеніе знаю: увидятъ тебя — въ ключья! И пуговицы потомъ не отыщешь.

— Нѣть, лучше я назадъ, заграницу поѣду, — печально сказалъ Керенскій.

— И то поѣзжай. Тамъ ты гораздо больше пользы принесешь, чѣмъ здѣсь. А знаешь, что мы сдѣлаемъ? Мы тебя заграницу въ пломбированномъ вагонѣ отошлемъ. Ха-ха-ха! Вотъ будетъ штука! Они тогда насть, а мы имъ теперь тебя. Работай, голубчикъ, работай, не покладая рукъ!! А если тамъ понадобятся деньжата или что...

— Лева, ты меня оскорбляешь. Я развѣ изъ-за денегъ? Я единствено изъ-за чистоты партійной программы...

— Впрочемъ, намъ одинъ чортъ — изъ-за денегъ ли, изъ-за чистоты ли... Еще дешевле! Ну, всѣхъ тебѣ благъ! Зензинова отъ меня чмокни въ щечку, Лебедеву кланяйся... Эй, кто тамъ есть! Вагонъ товарищу Керенскому! Да запломбируйте его покрѣпче, чтобы по дорогѣ никакая дрянь его не обидѣла... Да ковровъ ему положите, чтобы помягче было, да чтобы тепло ему было — угля побольше, углято! Ну, трогай! Эхъ вы, залетные!

КЕРЕНСКИЙ

(Третий портрет.)

Рядъ волшебныхъ измѣненій милаго лица ...

Однажды Александръ Керенскій сидѣлъ среди блестящаго заграничнаго общества и блестяще говорилъ:

— Большевизмъ — это свирѣпый чугунный колоссъ на глиняныхъ ногахъ! Подрубите ему ноги — и онъ рухнетъ. Мы, старые революціонеры...

Мрачный чернобородый нахмуренный человѣкъ вдругъ завозился въ креслѣ и быстро перебилъ:

— Чего, чего?..

— Я говорю, что большевизмъ это — чугунный колоссъ на глинян...

— Нѣть, не это! А чего вы сказали: старый-чего?

— Я говорю, что я, какъ старый революціонеръ...

— Это вы-то?

— Ну да, я. А то кто же?

— Послушайте... — вдругъ совсѣмъ тихо,

пониженнымъ голосомъ и очень задушевно заговорилъ чернобородый. — Ну, какой вы революционеръ? Какъ за копейку постоять. Развѣ такие революционеры бываютъ? Большевизмъ уже четвертый годъ, какъ сѣлъ на шею Россіи — а какъ вы съ нимъ боролись? Палецъ о палецъ не ударили! Только и дѣлали, что подъ ногами путались — сначала у Корнилова, потомъ у Деникина, у Колчака, а въ концѣ концовъ — у Врангеля... «Мы, старые революционеры». Эхъ, вы! Молчали бы лучше!

— Однако, послушайте...

— Да чего тамъ слушать! Четыре года слушаемъ васъ, а говорите вы и пишете такъ, будто чешется у меня правая нога, а вы скребете лѣвую.

— Слушайте, я не совсѣмъ бы со мной такими тономъ...

— Дѣйствительно, стану я съ вами тонъ подбирать! Цада какая! «Старый революционеръ!». Нѣтъ, братъ, если ты старый революционеръ — такъ не болтайся здѣсь заграницей, не путайся между ногами у занятыхъ людей, а поѣзжай въ Россію и устраивай тамъ революцію.... А то отсюда-то, братъ, легко кукиши всѣмъ сучить...

Чернобородый былъ твердъ, рѣзокъ, даже грубъ, но говорилъ онъ такимъ тономъ, что нужно было или трахнуть его кулакомъ по темени или покрыть еще болѣе твердымъ тономъ, чѣмъ тотъ, которымъ говорилъ онъ.

Керенский выбралъ второе:

— И поѣду!

— Куда?

— А въ Россію.

— Ой, заливаешь?

— Виноватъ, я въсъ не понимаю...

— Да чего тамъ понимать. Я тебѣ, Сашъ, скажу такъ... (Чернобородый перешелъ опредѣленно на «ты», и голосъ его потемнѣлъ, сдѣлался нѣжнымъ). Я тебѣ, Саша, скажу вотъ что: ежели ты да дѣйствительно пойдешь въ Россію — первымъ ты для меня человѣкомъ будешь!

— И поѣду. А ты что думаешь? Мои рабочіе, чай, заждались меня! Вотъ-то кому заварю. Я понимаю, что имъ, дѣйствительно, настоящій вождь нуженъ; а безъ вождя они что? Поѣду! Такъ что-то. И, когда я пріѣду, большевики у меня ко всѣмъ чертямъ полетятъ! Вотъ ужъ теперь я церемониться не буду... Нѣ-ѣтъ, братъ! Самъ съ усамъ.

— Вотъ это по нашему! Люблю парня за ухватку. А я, братъ, съ тобой вмѣстѣ поѣду. Со мной не пропадешь. Когда єдемъ? Завтра?

— Ну, ужъ ты тоже скажешь — завтра... Вотъ бороду отпушу — и поѣдемъ.

— И вѣрно. Отпусти ее, Сашенька, Богъ съ ней. Такъ єдемъ, Саша? Ай молодца!

Расцѣловались.

*

Керенскій сидѣль дома и никого не принималъ:

- Дома баринъ?
- Такъ точно; дома. Только они заняты.
- Чѣмъ?
- А бороду отпускаютъ.
- Послушай, голубчикъ, какое же это занятіе отпускать бороду? Вѣдь онъ можетъ со мной говорить, а борода, все равно, въ это время будетъ отпускаться.
- Всѣ вы такъ говорите. Не приказано принимать, — значитъ, не приказано.

*

Пароходъ везъ Керенскаго и его новаго чернобородаго друга изъ Константинополя въ Севастополь.

Оба — Керенскій и Чернобородый — стояли, опершись о бортъ, и разговаривали.

Разговоръ былъ нѣсколько односторонній, такъ какъ говорилъ только Керенскій:

— Большевизмъ нужно раздавить однимъ мучимъ ударомъ. Когда я подниму своихъ рабочихъ и вообще весь сознательный пролетаріатъ, они должны сразу накинуться на эту зловонную стоголовую гадину и сразу отсѣчь всѣ сто головъ. Только одинъ натискъ — но быстрый, какъ молния. И всѣ эти воры и насильники треснутъ, какъ пустой орѣхъ.

— Гм... да, — согласился Чернобородый. — А вотъ и Севастополь виденъ.

— Уже?! Скоро. Интересно, удастся намъ проскочить съ фальшивыми паспортами, или, не дай Богъ, задержать? Собственно, я того мнѣнія, что большевизмъ въ своемъ чистомъ видѣ штука не плохая, и если бы его такъ не исказили люди, присосавшіеся...

— Какая красавая бухта, — перебилъ Чернобородый.

— Что бухта! Вы возьмите, какая красота нѣкоторые тезисы ученія Карла Маркса... Я понимаю, почему коммунисты считаютъ Маркса своимъ Евангеліемъ.

— Сторонись! Сходни ставять.

— Ахъ, уже сходни... Какое быстрое это морское дѣло. Я теперь понимаю, почему матроны такъ много сдѣлали для Великой Русской Революціи... Вообще, если буржуазія и раздавлена, то только благодаря мощнай поддереж...

— Ну, разговорились не во время! Тащите чёмоданы!

— Уже? Ахъ какой красивый городъ! И какой порядокъ, чистота. Вотъ, думаю, при Врангельѣ тутъ безобразіе было... Вообще, эта контрь-революція.

*

Вхали на сѣверъ поѣздомъ.

— Какая станція? — спросилъ Керенскій дремлющаго Чернобородаго.

— Мелитополь.

— Уже? Какъ скоро. Третій день всего ѿдемъ

— и уже Мелитополь. А раньше какое безобразие — чуть не 15 часовъ нужно было тащиться. Нѣтъ, что касается порядка и системы, то въ большевизмѣ есть хорошія сѣмена. Конечно, я террора не одобряю... и удушеніе печати не одобряю... А что рабочіе стали хорошо работать — это нужно коммунистамъ отдать должное.

*

Ѣхали, Ѣхали.

— Какая станція?

— Харьковъ.

— Уже? Да вѣдь только двадцать первый день Ѣдемъ. Мальчикъ, какая у тебя газета? Коммунистическая? То-то. А если бы была бѣлогвардейская — я бѣ тебѣ штанишки спустилъ и по спинѣ похлопалъ — таково болыно: не торгуй бѣлогвардейщиной! Конечно, я террора не одобряю, но съ печатью, по-моему, поступлено правильно. Дѣйствительно: если меня же, правителя въ моей же странѣ, ругаютъ — неужто я буду молчать? Нѣтъ, товарищи, нужно войти въ положеніе Ленина и Троцкаго!!! Имъ тоже не сладко бремя власти. Для народа только и взвалили себѣ на плечи.

— Тула!

— Тыфу ты, чортъ! Это не товаро-пассажирскій, а какой то поѣздъ-молнія, прости Господи! Второй мѣсяцъ всего Ѣдемъ, и уже Тула. А почему такъ быстро? Потому что рабочій народъ въ страхѣ Божьемъ держать. Нѣкоторые говорятъ:

«Терроръ, терроръ!». А что такое терроръ — и сами не знаютъ. Терроръ да ежели съ толкомъ примѣнять — такъ это первая штука. Я не спорю, — безъ толку не нужно... Меня, напримѣръ, скажемъ — за что трогать? Никому я зла не дѣлаю, совѣтскую власть уважаю, давеча даже ихъ во дворецъ Кшесинской пустиль: живите, мнѣ не жалко. Я такой человѣкъ. Я — добрый. Я знаю — коммунисты хорошие люди, тихіе и хмельнымъ не зашибаются. Что это за станція, товарищъ? Москва? А скажите, товарищъ, какъ пройти на то мѣсто, гдѣ похоронены усопшие при исполненіи обязанностей наши товарищи-коммунисты? Я хотѣлъ бы поклониться ихъ святому праху.

Чернобородый почесалъ бороду, крякнулъ, сплюнулъ и, молча, какъ ошпаренный, выскочилъ изъ вагона...

• • • • • • • • • • • • •

БАЛТИЙСКИЙ МАТРОСЪ

Жизнь и смерть Шкляренки и Бондаря.

До октябряской революции образъ балтійскаго матроса быль ясенъ и прозраченъ, какъ стекло...

Вотъ онъ:

«Боцманнать съ «Авроры» Никита Шкляренко сдвинулъ на затылокъ шапку, выплюнулъ табачную жвачку, запелъ въ портовый кабакъ «Три Якоря», хватилъ однимъ духомъ полъ-пинты рому и, ахнувъ могучимъ кулакомъ между лопатокъ своего пріятеля Егора Бондаря, пустился съ нимъ посреди кабака въ плясъ, оглашая воздухъ боевой матросской пѣсней».

Я очень любилъ этотъ безхитростный образъ. Давно любилъ. Еще съ тѣхъ поръ, какъ въ юности прочелъ незабвенный стивенсоновскій «Островъ сокровищъ».

Я очень любилъ эту цѣльную здоровую натуру — могучаго, грубоватаго и добродушнаго матроса, сожженаго солнцемъ тропиковъ, пропитаннаго морскими запахами, широкоплечаго,

немного неуклюжаго на супѣ, покачивающагося во время ходьбы увальня.

Революція совершенно преобразила эту цѣльную монолитную натуру.

Началось съ простого: вдругъ матросъ совершилъ забросилъ свой корабль, перешелъ на сушу, вооружилъ ружьемъ, перепоясался пулеметной лентой и сталъ таскаться по всѣмъ подъѣздамъ, обыскивая и разстрѣливая.

Въ дальнѣйшемъ эволюція матроса пошла еще больше вглубь и вширь: нѣкоторые неуклюже вскарабкались на коней и образовали совершенно неслыханную въ природѣ «матросскую кавалерію»; кое-кто причалилъ къ тихой пристани: устроился комиссаромъ въ какой-нибудь Губчека; а большинство застряло въ «Красномъ Питерѣ» и образовало кадры новой аристократіи.

Уже въ 1918 году можно было видѣть на улицахъ Петербурга эту изысканную публику, одѣтую въ штаны до того широкіе, что казалось, на ногахъ болтались двѣ женскихъ юбки; одѣтую въ традиціонныя голландки, но съ такимъ огромнымъ декольте, на которое свѣтскія дамы никогда бы не осмѣлились.

Эти странные матросы были напудрены, крѣпко надушиены; на грубыхъ лапахъ виднѣлись явные слѣды безуспѣшнаго, но усиленнаго маникюра; на ногахъ — туфли съ высокими каблуками и чуть ли не съ лентами; на груди приколота роза.

Такъ вырядился и выродился честный простой русскій матрось.

Ясно, что на полпути онъ остановиться не могъ: газеты сообщали, что въ столичныхъ театрахъ большинство публики — декольтированные матроны, напудренные, съ подведенными глазами и накрашенными губами; на рукахъ — браслеты, на груди — брилліантовая брошка.

О, бывшій могучій Никита Шкляренко, обвѣянный всѣми вѣтрами, согрѣтый тропическімъ солнцемъ и пропитанный морскимъ соленымъ запахомъ, — о, Никита Шкляренко! Отсюда даже вижу весь «трэнъ» твоей нынѣшней столичной жизни.

Не узнать тебя, о, Никита, вышивавшаго однімъ духомъ поль-пинты крѣпчайшаго рому и храбро вступавшаго въ бой хоть съ полдюжины задиристыхъ коллегъ съ англійскаго угольщика.

Вотъ пришелъ ты со своимъ пріятелемъ Егоромъ Бондаремъ въ Александрийскій театръ, съ наигранной свѣтской усталостью усѣлись вы оба на мѣста въ ложѣ и тутъ же стали вы оба разглядывать публику: Егорка Бондарь въ перламутровый дамскій бинокль, ты же, о, Никишка Шкляренко, въ лорнетъ.

Сощурили вы оба подрисованные глаза, сжали пренебрежительно накрашенныя губы и, почесавъ могучей пятерней пышное свое декольте — покачали въ тактъ завитыми головами:

— Публика севодни — не охти чтобы какая.

На барьеръ вашей ложи стоить коробка шоколаду, и вы оба, отставивъ могучie, кривые отъ бывшей возни съ канатами мизинцы, то и дѣло запускаете руку въ коробку.

— Жарко! — говорить Шкляренко, утирая напудренный лобъ. — А я вѣрь дома забыть. Ахъ, знаешь, кстати, какую я брошку намедни видѣлъ у одного товарища! Прямо — съ блюдце! Поль-груди закрываеть. Я на свое колье предлагалъ мѣнку — не想要, сволочь. А што говорють, что быдто теперь у волосахъ діадемы уже стали носить. А что такое діадемы — я и не знаю: чи то въ родѣ звѣзды, чи то, какъ на манеръ рога.

— Никишка, чортъ собачий, — нервно перебиваеть размечтавшагося друга Бондарь. — Ты опять Вѣрой Віолетой надушился?! — Головизна отъ него трещать начинаеть. Накарай меня Господь — сейчасъ упаду въ обморокъ.

— При чемъ тутъ моя Вѣра Віолета? Просто я говорилъ тебѣ — не затягивай такъ корсетъ! А ты зашпаклевался до отказу!

— Ладно тамъ! Сотри-ка лучше съ бакбorta румяны: на самый глазъ вѣхали.

— Это я спѣшилъ: понимаешь, какая теперь дрянь — ожурный чулокъ пошелъ: какъ натя-нешь, такъ у колѣнки — хрясь! Напополамъ, къ чортовой матери!

— Да... трудно теперь матросу по-настоящему одеться!.. Ни тебе кружева къ панталонамъ, ни тебе шелковыхъ завязокъ до туфлей...



Тихо плещется у горячаго песчанаго берега далекій-далекій зеленый океанъ...

Съ жемчужнымъ шорохомъ догоняетъ одна волна другую и шепчетъ ей:

— ...Однажды нѣсколько лѣтъ тому назадъ, во время бури, долго носила я на своемъ хребтѣ прекрасный русскій корабль... Очень хотѣлось мнѣ утянуть его на дно, но команда корабля сражалась съ бурей, какъ стая львовъ. Что это были за молодцы! И среди нихъ два самыхъ могучихъ отчаянно-храбрыхъ льва — во время минуты затишья я подслушала имена ихъ — то были: матросъ Егоръ Бондарь и боцманъ Никита Шкляренко!..

Докатилась зеленая волна до берега, разлилась кружевомъ по желтому горячему песку и вздохнула въ послѣдній разъ:

— Гдѣ-то теперь они?

Эхъ, зеленая кружевная океанская волна! Не знаешь ты, матушка, какія на свѣтѣ чудеса бываютъ...

Хочешь, расскажу?

Вотъ лягу грудью на песокъ у самаго того мѣста, гдѣ ты, обезсиленная зноемъ, растекаешься томнымъ лѣнивымъ вѣромъ, у самыхъ

моихъ губъ и повѣдаю тебѣ окончаніе этой чудесной, диковинной, по русскому, сказки.



Шли однажды по Невскому два дѣкольтированныхъ матроса въ лаковыхъ туфляхъ — Никита Шкларенко и Егоръ Бондарь...

Бесѣдовали о своихъ нео-матросскихъ дѣлахъ.

— Говорять, что теперь самое модное — какой-то фойфъ-о-клюкъ чертаячій. А гдѣ его купить и на кое мѣсто нацѣпить — такъ никто и не знаетъ.

И наткнулись они въ этотъ моментъ на группу людей, окружившихъ кого-то.

— А ну разступись, шпана, — гордо сказалъ Егоръ Бондарь. — У чемъ тутъ дѣло?

— Мальчишка съ голоду на мостовой помираетъ, вотъ тебѣ и дѣло.

Бондарь притихъ немного.

— Чего жъ это онъ! Неужто Ѵѣсть такъ-таки совсѣмъ и нечего?

— Кому — какъ, — отвѣтилъ изъ группы Ѵдкій голосъ. — Которые съ брошками на грудяхъ, съ лакомъ на лапахъ — тѣ Ѵдятъ первый сортъ. А настоящій народъшибко мретъ.

— А что жъ я, по твоему, не настоящій народъ? — обидѣлся Бондарь.

— Ты? Да ты бы въ зеркало на себя поглядѣлъ.

Шкляренко обернулся на друга, поглядѣль на него новыми, свѣжими глазами и вдругъ шумно расхохотался:

— А вѣдь и вѣрно — чучело съ огорода.

— А ты себя-то видѣль?

Потомъ Шкляренко сдѣлался серьезенъ.

— Скидывай брошку; отдай мальчишкѣ! Скидывай усе. Айда на корабль — рожи мыть. Я имъ сволочамъ покажу ихній коммунизмъ! До чего довели, а? Простите, православные, а мы это усе по новому справимъ!

И два друга, порывистые, темпераментные во всемъ — и въ бояхъ съ матросами угольщика и въ обсужденіи діадемъ и файфъ-о-клоковъ — помчались, какъ вихрь.

*

Балтійскій ледъ скованъ на диво. Крѣпокъ. Ему не трудно и цѣлый полкъ выдержать.

А тутъ всего два человѣка.

Лежать на безкрайнемъ ледяному полю.

Раскинулись они по богатырски: руки, ноги въ стороны, головы закинуты.

И оба голые до пояса. Это ужъ такой обычай матросскій: при такой дракѣ, которая должна быть послѣдней — и голландку и тѣльникъ сбрасываются... Потомъ, все равно, не надо, а драться куда способнѣй.

Лежать неразлучные благопріятели.

И у Никиты Шкляренко уже не румяна на щекѣ, а что-то потемнѣе и погуще.

И Бондарь украшень рубиновымъ знакомъ въ томъ самомъ мѣстѣ, на груди, гдѣ раньше сверкала брошкa.

Расплатились честно морячки и за румяна и за брошкi.

Поработали — отыхаютъ. Такой крѣпкiй сонъ, что хоть сто склянокъ бей надъ ухомъ, и ухомъ не повернуть. Потому стоять уже на другой вахтѣ . . .



Волна выслушала, вздохнула и, пересчитавъ камушки, какъ старуха — четки, когда молится за близкихъ покойниковъ, откатилась, удовлетворенная, въ океанъ.

СОВѢТСКІЙ УЧИТЕЛЬ

Одинъ изъ многихъ.

1. Эпоха первая, 1895 годъ.

Маленький мальчикъ Вася Усовъ сидѣлъ у себя въ дѣтской за старымъ видавшимъ виды столомъ, сплошь изрѣзаннымъ и залитымъ чернилами — и горько плакалъ.

— О чѣмъ ты? — спросила заглянувшая въ дѣтскую мать.

— Ничего не знаю.

— То есть... какъ это — ничего не знаешь?

— Да вотъ такъ-какъ есть рѣшительно ничего, ничегошеньки не знаю. По географіи. Все слова какія-то: Снта-Фе-де-Богата. Гвада-лупа, Бабъ-эль-Мандебъ, изотерма, изохимена, меридіанъ...

— Бѣдный мой мальчикъ... Ну, можетъ быть, и выкрутишься какъ-нибудь... Учитель, глядишь, позабудетъ и не спросить.

— Не таковскій онъ. Пропала моя головушка.

Предчувствіе не обмануло Усова, Василія.

На урокѣ географіи учитель первыми дол-

гомъ вызвѣрился на Усова, какъ очковая змѣя на попугайчика:

— А ну, ты!.. Какъ тебя тамъ... Усовъ, что ли... хотя, братъ, тебѣ больше подходила бы фамилія — Безусовъ... Ну, вы тамъ... загрохотали, юрадовались. Тише тамъ! Расскажи мнѣ, Длинноусовъ, объ Изохименѣ.

— Слушаю-сь. Изохименой назычется, кото-
рая, такое оно...

— Какое?

— Оно длинное...

— Такъ, такъ... Зеленый, длинный, висить
въ гостиной. Дернешь — щищть.

Здорово ты знаешь, Черноусовъ. Еще разъ тебя спрашиваю: что такое Изохимена.

— Ящерица такая — съ энергіей отчаянія
крикнулъ Усовъ Василій и даже зажмурился —
будто въ черную пропасть прыгнулъ.

Безжалостный классъ снова загрохоталъ.

— Что ты говоришь? Какого же она цвѣта?

— Такая... желтенькая, съ крапинками.

— Что жъ она... опасная?

— Ну, не очень.

— Ну, не скажи. Для тебя она очень опасна.
Этакій маленький звѣрекъ, а единицу въ зу-
бахъ притащилъ. Впрочемъ, ты можешь попра-
виться. Экваторъ видѣлъ когда-нибудь?

— Не видѣлъ.

— Что же это ты такъ промахнулся? Почему
не видѣлъ?

— Онь же далеко. Онъ же въ Африкѣ.

— А здѣсь почему его нѣть?

— Онъ же водится въ жаркомъ климатѣ...

— Здорово, Усовъ, Усовъ! Какъ жалко, что и ты не водишься въ жаркомъ климатѣ. Быть бы ты сейчасъ далеко отъ меня и не принуждалъ бы меня оставлять тебя безъ обѣда и писать записку родителямъ. Стать къ стѣнкѣ въ уголъ носомъ, поѣдя я напишу записку родителямъ.

Пусть они тебя по экватору хорошенъко настегаютъ.

*

Шесть часовъ вечера. Дома—знакомая, но тяжелая картина: отецъ бѣгаешь по кабинету, хватаясь за голову, и стонеть, такъ что сердце разрывается.

— Ну, что мнѣ съ тобой дѣлать!

Уже такой большой дуракъ, а изохимены не знаешь. Въ пастухи мнѣ теперь тебя отдавать, что-ли...

2. Эпоха вторая, 1922 годъ.

Преподаватель Московской совѣтской школы «Нормальсовмѣстобуч» Василій Капитоновичъ Усовъ передъ уходомъ на занятія сидѣлъ у себя въ кабинетѣ и горько плакаль.

— Что съ тобой, папа? — спросила заглянувшая въ кабинетъ десятилетняя дочь.

— Ничего не знаю, ничего не понимаю.

— Ну, напримѣръ.

— Очень меня жучать мальчишки. Такие уроки задаются, что никак не выучишь. И слова все самые непонятные: «Уездземельком», «Деркамбед», «Реввоенсов», «Соввоенспец».

— Ну, авось сегодня не вызовутъ..

— Да, какъ же, надѣйся. Мы, говорять, тебя выбрали всеобщимъ голосованіемъ въ учителя, и ты долженъ знать все на зубокъ. Все пугаютъ: не будешь знать, говорять, мы тебя безъ пайка оставимъ и записку домой твоимъ дѣтямъ напишемъ. Тебя-то, Оличка, я не боюсь, ты меня любишь и не тронешь пальцемъ, а сынъ, если узнаетъ, выпоретъ такъ, что до зеленыхъ вѣниковъ не забуду.

И предчувствіе не обмануло Усова.

Когда онъ вошелъ въ большую, холодную комнату «Нормальсовобуча», сначала на него никто не обратилъ вниманія: два мальчика, сидя верхомъ на кафедрѣ и болтая ногами, дружески угощали другъ друга доброй понюшкой кокаина; еще одинъ мальчикъ мирно завтракалъ бутербродомъ изъ конинъ, запивая его бутылкой мутнаго пива, прямо изъ горлышка. Двѣ дѣвочки грѣли на спиртовой машинкѣ щишки и завивали другъ друга съ такой яростью, что запахъ паленаго волоса заглушалъ всѣ другіе запахи. Компания изъ шести человѣкъ сгрудилась въ углу у окна, и оттуда неслись оживленные возгласы: «У меня семь очковъ, а у тебя. Ага. Жиръ. Ставлю еще пятьсотъ тысячъ. Четыре. Три. Очко деньги съѣло. Иду до банка».

— Кто сегодня дежурить? — робко озираясь, спросил Усовъ.

— А-а. Товарищъ Мокроусовъ, — пропороталъ счастливый владѣлецъ пива, отрывая губы отъ горлышка. — Чего же вы опаздываете?

— Въ аптеку ходиль, ей-Богу, — совралъ Усовъ Василій. — Дочка больна.

— Вѣчныя отговорки. Ну что, приготовили урокъ? Или нѣть, какъ давеча, разнюнитесь.

— Кто сегодня дежурить? — переспросилъ Усовъ Василій, старясь замять непріятный разговоръ.

— Овсюковъ. Только его сегодня не будетъ. Попшелъ въ комиссариатъ съ женой разводиться.

— Онъ вѣдь, кажется, позавчера разводился?

— Ну, что жъ такого. Позавчера съ одной разводился, сегодня съ другой, — разсудительно возразила дѣвочка, вертя на рукѣ раскаленные щипцы. — Послушайте, душка Усаковъ. Достаньте мнѣ денатурату для машинки, я васъ подѣлу въ носикъ.

— Манька, — строго крикнулъ юноша, только что отправившій въ носъ очередную понюшку кокаина, — давно я тебя за косу не таскалъ... Ты у меня пококетничаешь.

— Товарищъ Усовъ! Покуримъ, что ли. Сахариномъ не интересуетесь? Могу предложить полтора кило франко сюда. А у меня, знаете, печальная новость: Катя сбѣжала. На какого-то латыша паршиваго промѣняла. Вотъ тебѣ и свободная школа, чортъ ее подери.

— Ну вы, шпана, — закричалъ, входя, дежурный Овсюковъ. — Разъ учитель пришелъ, не будемъ терять золотого времени. Спросимъ у него урокъ да и айда по домамъ. У насъ тутъ компашка въ «Тифлісъ» собирается. Товарищъ Усовъ, что вы сегодня готовили?

— Отношение «Деркомбедовъ» къ «Уеземелькому».

— Ну вотъ, вы намъ и расскажите объ этомъ. Ступайте на кафедру. Оттуда будете говорить. Порядка не знаете, что ли?

— Гм... кхе, кхе... Эти самые... «Деркомбеды» относятся къ «Уеземелькому» какъ низшій подвластный органъ, но въ случаѣ недоразумѣній всякий вопросъ вносится въ «Губсовнархозъ», который совмѣстно съ «Осотопомъ» и «Всеобучемъ».

— Съ кѣмъ? Съ кѣмъ?

— Я хотѣлъ сказать съ «Реввоенсовомъ»...

— Да вы знаете, что такое «Реввоенсовъ»?...

— Это такой... военный, который.

— Ну, что такое «Реввоенсовъ»? Можетъ быть, вы думаете, что это въ переводѣ: реветь военный, какъ сова? Не гогочите вы, жеребцы... Ахъ Усовъ, Усовъ. Что намъ съ вами дѣлать?.. Ну, скажите намъ, каковы функции «Ососовпатопа». Подчиненъ ли онъ... «Выссовпатопу» или нѣть?

— Нѣть, то есть да.

— Гм... «нѣть, то есть да». Ахъ, Длинноусовъ, Длинноусовъ... Опять придется вызывать вашихъ дѣтей въ ученическую — объясняться.

— Я старался... я училъ...

— Опять слезы. Пойдите, станьте къ стѣнкѣ, пока я вашимъ дѣтямъ записку напишу. Пусть хоть они вѣсъ усовоѣтъ...

А дома была знакомая, но тяжелая сцена.

Двѣнадцатилѣтній сынишка Петъка бѣгалъ по дѣтской, хватался за голову и стоналъ: — Ну, что я съ тобой буду дѣлать? До сѣдыхъ волосъ дожилъ, а «Реввоенсовъ» не знаешь. Въ пастухи мнѣ тебя отдавать, что ли? — Дочь Оля подошла къ пригорюнившемуся отцу, погладила его по головѣ и сказала брату съ упрекомъ:

— Ну, что ты къ человѣку привязался. Сегодня не выучилъ, завтра выучить. Я сама съ нимъ позаймусь.

АРТИСТКА ОБРАЗЦА 1922 ГОДА

Одна изъ многихъ.

Хорошенькая, изящная, какъ нарядная куколка, пѣвица придинула къ себѣ ближе обсахаренные орѣхи и, облизывая обсахаренные пальчики, сказала:

— Наша Одесса — ужасный городъ! Посмотрѣли бы вы, какъ вели себя одесситы при большевикахъ!..

— А вы развѣ были тогда въ Одессѣ, при большевикахъ?

— Ну! — обиженно усмѣхнулась она съ непередаваемой, неподражаемой одесской интонацией, придавъ этому слову изъ двухъ буквъ выраженіе цѣлой длинной фразы, смыслъ которой долженъ быть значить:

— Неужели ты сомнѣвался, что я была въ Одессѣ, и что я, вмѣстѣ со всѣми, пережила всѣ тягчайшіе ужасы большевизма, и что я съ честью вышла изъ положенія, заслуживъ титулъ геройни и ореолъ мученицы!..

Да... многое можетъ вложить настоящій одесстъ въ слово изъ двухъ буквъ.

— Что жъ... тяжело вамъ было тамъ?

— Мнѣ? Если бы я начала рассказывать обо всѣхъ моихъ страда... Передайте мнѣ эти тянучки... merci! страданіяхъ, то въ цѣлую книгу не упишешь.

Она положила себѣ на голову бѣлую ручку съ отполированными ноготками и задумалась.

— Ахъ!... Эти обыски, эти аресты...

— У васъ былъ обыскъ?!

— Нѣ одинъ, а три. Положимъ, не у меня, а у моихъ сосѣдей, но все равно — тревожили и меня. Товарищъ предсѣдателя чрезвычайки заходить вдругъ ко мнѣ и просить бумаги и черниль, — они тамъ въ сосѣдней квартирѣ что-то писали... Ну, что было дѣлать — дала! Вѣдь мы тогда всѣ были совершенно безсильны.

А онъ смотрѣть на меня и вдругъ говорить... благодарю васъ, мнѣ не хочется этого кекса... и говорить: «А я васъ знаю, вы очень хорошо поете!».

Понимаете — знаетъ меня! Я чуть въ обморокъ не упала...

Потомъ, въ чрезвычайкѣ уже я ему говорю...

— Неужели въ чрезвычайку васъ таскали?!

— Да, видите ли... Тамъ былъ какой-то концертъ — вотъ настъ артистовъ и заставили пѣть! Такой ужасъ! Револьверъ къ виску — и пой! Я тамъ, впрочемъ, большой успѣхъ имѣла — они, вообще, замѣчательно умѣютъ слушать. А

какъ аплодировали! Потомъ уже, сидя въ автомобилѣ съ товарищемъ предсѣдателя чрезвычайки...

— Все-таки, значитъ, они были съ вами въживливы — назадъ отвозили.

— Нѣтъ, это не назадъ... Это, вообще, днемъ было. Я шла къ Робина, а онъ взялся меня подвезти. Шикарный у него автомобиль, знаете...

— Охота вамъ была съ большевикомъ ѿздить, — замѣтилъ я.

— А что подѣлаешь? Револьверъ къ виску — и катайся! Я ужъ потомъ и то говорила ему: «Вы, Миша, ужасный человѣкъ! Съ вами прямо страшно». А онъ засмѣялся, открылъ крышку рояля и говоритъ: «хотите — говорить — шашкой перерублю всѣ струны, а вамъ новый пришлю!».

— Неужели въ автомобилѣ рояль стоялъ? — изумился я.

— Въ какомъ автомобилѣ?!.. При чёмъ тутъ автомобиль?.. Дома у меня, а не въ автомобилѣ.

— Неужели же вы большевиковъ у себя дома принимали?

— А что подѣлаешь? Револьверъ къ виску и сидить и пить чай до трехъ часовъ ночи!.. «Миша, — говорю я ему — ты меня компрометируешь»... Ахъ, столько страданій за эти нѣсколько мѣсяцевъ! Не поѣхать къ нимъ въ чрезвычайку неловко, — обидятся, а поѣдешь...

Впрочемъ, одинъ разъ очень смѣшной случай былъ. Присылаютъ они за мной автомобиль — огромный-преогромный, теряешься въ немъ, какъ пуговица въ карманѣ; плачу, а ъду. Впрочемъ, единственный разъ я у нихъ и была. Пріѣзжаю... На столѣ столько наставлено, что глаза разбѣгаются! Преподносятъ мнѣ, представьте, преогромный букетъ розъ и мимозы...

— Неужели отъ большевиковъ букеты принимали? — съ упрекомъ замѣтилъ я.

— А что подѣлаешь?! Револьверъ къ виску и сують въ руку. И темно-фиолетовая лента — чудесное сочетаніе! Впрочемъ, я одинъ разъ у нихъ только и была. Спрашиваютъ: «Чего — говорять — сначала хотите выпить?». Я говорю: «Зубровки, той, что мы вчера пили». Посмотрѣли другъ на друга какъ-то странно, мнутся: «Да она — говорять — въ погребѣ». — «А вы прінесите изъ погреба», — говорю я. «Неужели боитесь? Пойдите съ племянникомъ Саней (племянникъ мой тогда тоже со мной былъ — Саня) и принесите». Саня уже всталъ было, а они совсѣмъ переполошились. «Нельзя туда, въ тотъ погребъ!». — «Да почему?!». — «Оттуда — говорять — еще разстрѣянные бандиты не убраны!.. Тамъ лежать». Нѣть, нѣть... Лучше эту розовенькую... Она, кажется, съ орѣхами!.. Да... такъ, понимаете, какой ужасъ: гдѣ эта зубровка стояла — разстрѣянные бандиты лежать. Мы потомъ эту зубровку «бандитовкой» называли. Охъ, ужъ эта Одесса-ма-

ма... Вѣчно она что-нибудь выдумаетъ... ха-ха!... Слушайте, отчего же вы не смѣетесь?..

— Спасибо. Я уже года два, какъ не смѣюсь.

Я всталъ, наклонилъ свое лицо къ ея розовому, разрумянившемуся лицу и тихо спросилъ, глядя прямо ей въ глаза:

— Скажите, а они не могли подсунуть вамъ, вмѣсто бандитовки — офицеровку?

И я видѣлъ, какъ что-то, будто кипяткомъ, опширило ея птичій мозгъ.

Она заморгала глазами быстро-быстро и, отмакиваясь отъ чего-то невидимаго, жалобно прочирикала:

— Но они же револьверъ къ виску... Танцуешь у нихъ — и револьверъ у виска, пьешь — и револьверъ у виска... Не смотрите на меня такъ!

*

Разнообразный городъ Одесса.

СОДЕРЖАНИЕ.

	Стр.
Отъ автора	5
Мадамъ Ленана	7
Мадамъ Троцкая	12
Феликсъ Даержинскій	18
Петерсь	21
Максимъ Горкій	26
Федоръ Шаляпінъ	31
Мартовъ и Абрамовичъ	38
Керенскій (Первый портретъ)	44
Керенскій (Второй портретъ)	51
Керенскій (Третій портретъ)	58
Балтійскій матросъ	65
Совѣтскій учитель	73
Артистка образца 1922 года	80

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «РУССИКА»

- RUSSICA-81.** Литературный сборник. Поэзия, проза, публицистика, мемуары, публикации. 400 стр. Тв. пер. \$25.00. Бум. обл. \$20.00.
- АРКАДИЙ АВЕРЧЕНКО.** Салат из булавок. Рассказы и фельетоны. 224 стр. \$9.95.
- АРКАДИЙ АВЕРЧЕНКО.** Три книги: «Нечистая сила». «Дети». «Пантеон советов молодым людям». 1921—24. / Переиздание. 303 стр. \$7.95. *Распродано.*
- ЮЗ АЛЕШКОВСКИЙ.** Рука. (*Повествование палача*). Роман. 314 стр. \$16.50.
- НИНА БЕРБЕРОВА.** Железная женщина. Роман-биография. 402 стр. \$18.50.
- ИОСИФ БРОДСКИЙ.** Римские элегии. 32 стр. \$5.00.
- МИХАИЛ БУЛГАКОВ.** Дьяволиада. М., 1925. / Переиздание. Новая красочная обложка и рисунок А. Крынского. 160 стр. \$5.95. *Распродано.*
- МИХАИЛ ДЕМИН.** Блатной. Роман. 364 стр. \$18.50.
- МИХАИЛ КУЗМИН.** Сети. Первая книга стихов. Берлин, 1923. Переиздание. Обложка по оригинальному рисунку Н. Альтмана. 208 стр. \$5.95.
- МИХАИЛ КУЗМИН.** Нездешние вечера. Стихи 1914—1920. Петербург, 1921. / Переиздание. Обложка — по оригинальному рисунку М. Добужинского. 136 стр. \$5.95.
- МИХАИЛ КУЗМИН.** Чудесная жизнь Иосифа Бальзамо, графа Калиостро. Книжные украшения М. Добужинского. Петроград, 1919. / Переиздание. С новым предисловием Геннадия Шмакова. 250 стр. \$9.95.
- НЕПОДЦЕНЗУРНАЯ РУССКАЯ ЧАСТУШКА.** Подготовка текста В. Кабронского. Предисловие проф. В. Раскина. 220 стр. \$6.95. *Распродано.*
- НОВАЯ НЕПОДЦЕНЗУРНАЯ ЧАСТУШКА.** Сост. В. Козловский. 405 стр. Тв. пер. \$20.00. Бум. обл. \$15.00.
- БОРИС НИКОЛАЕВСКИЙ.** История одного предателя. Террористы и политическая полиция. Берлин, 1932 г. / Переиздание. 374 стр. \$12.00.
- СЕРГЕЙ ПЕТРУНИС.** Иероглифы. Первая книга. 250 стр. \$8.95.

- АЛЕКСЕЙ РЕМИЗОВ.** Россия в письменах. Том 1. Берлин, 1922 / Переиздание. С новым предисловием О. Раевской-Хьюз. 222 стр. \$7.95.
- РУССКАЯ ЛИРИКА.** Маленькая антология от Ломоносова до Пастернака. Сост Кн. Д. Святополк-Мирский. Париж, 1924. / Переиздание. С новым предисловием проф. Глеба Струве. XIII, 21 стр. \$6.95.
- Н. А. ТЭФФИ.** Городок. Рассказы. С новым предисловием Эдит Хейбер. 204 стр. Тв. пер. \$13.00. Бум. обл. \$7.95.
- ВЛАДИСЛАВ ХОДАСЕВИЧ.** Собрание стихов. Париж, 1927. / Переиздание. 184 стр. \$5.95.
- ВЛАДИСЛАВ ХОДАСЕВИЧ.** Избранная проза. С предисловием и комментариями Н. Берберовой. 320 стр. \$9.95.
- МАРИНА ЦВЕТАЕВА.** Избранная проза в двух томах. Предисловие И. Бродского. 2 тома, 835 стр. \$35.00.
- МАРИНА ЦВЕТАЕВА.** Стихотворения и поэмы в 5 томах. Том 1. Иосиф Бродский. Об одном стихотворении. (Вместо предисловия). Виктория Швейцер. «Своими путями». (Биографический очерк). «Вечерний альбом». «Волшебный фонарь». «Юношеские стихи». «Версты 1». (1916). Стихи, не вошедшие в сборники. 402 стр. Тв. пер. \$30.00. Бум. обл. \$25.00.
- МАРИНА ЦВЕТАЕВА.** Стихотворения и поэмы в 5 томах. Том 2. Стихотворения 1916—1922 гг.: «Версты 2». «Лебединый стан». «Стихи к Блоку». «Психея». «Ремесло». Стихи, не вошедшие в сборники. 420 стр. Тв. пер. \$30.00. Бум. обл. \$25.00.
- АЛЕКСАНДР ЧАЯНОВ.** История парикмахерской куклы и другие сочинения Ботаника Х. Предисловие А. Бахраха. Очерк творчества Л. Черткова. 450 стр. \$15.00.
- АНАТОЛИЙ ШТЕЙГЕР.** $2 \times 2 = 4$. Стихи. 1926—1939 гг. Биогр. заметка А. Головиной. Предисловие проф. Ю. П. Иваска. 104 стр. Тв. пер. \$13.00. Бум. обл. \$6.95.
- WOJCIECH ZALEWSKI.** Russian-English Dictionaries with Aids for Translators. A Selected Bibliography. 144 стр. \$7.50.
- Access to Resources in the '80s: Proceedings of the First International Conference of Slavic Librarians and Information Specialists.** Ed. by Marianna T. Choldin. 110 стр. \$7.50.

ГТОВИТСЯ К ИЗДАНИЮ

- АНДРЕЙ БЕЛЫЙ.** Петербург. Авторская инсценировка одноименного романа. Под ред. проф. Джона Малмстеда.
- НИНА БЕРБЕРОВА.** Курсив мой. Автобиография. Издание второе, исправленное и дополненное. С новым предисловием автора.
- НИНА БЕРБЕРОВА.** Биянкурские праздники и другие рассказы.
- ЗИНОВИЙ ЗИННИК.** Перемещенное лицо. Роман.

АЛЕКСЕЙ РЕМИЗОВ. Пляшущий демон. С новым предисловием проф. Владимира Маркова.

РУССКИЙ БЕРЛИН: 1921—1923. Тексты и документы. Под ред. Л. Флайшмана, О. Раевской-Хьюз и Р. Хьюза.

ВЕЛИМИР ХЛЕБНИКОВ. Крыса. Подготовка текста и комментарий Роналда Врууна.

МАРИНА ЦВЕТАЕВА. Письма Анатолию Штейгеру.

МАРИНА ЦВЕТАЕВА. Письма Юрию Иваску.

МАРИНА ЦВЕТАЕВА. Проза. Письма. Воспоминания. Сборник новых материалов.

МАРИНА ЦВЕТАЕВА. Стихотворения и поэмы в 5 томах. Том 3. Стихотворения и переводы 1922—1941 гг.: «После России». Стихи и переводы 1922—1941 гг.

МАРИНА ЦВЕТАЕВА. Стихотворения и поэмы в 5 томах. Том 4. Поэмы.

МАГАЗИН «РУССИКА» ПРЕДЛАГАЕТ:

СВЕТЛАНА АЛЛИЛУЕВА. Двадцать писем к другу. Нью-Йорк, 1981, 216 с. \$10.00.

БОРИС БАЖАНОВ. Воспоминания бывшего секретаря Сталина. Нью-Йорк, 1980. 319 стр. \$15.00.

МИХАИЛ ЗОЩЕНКО. Перед восходом солнца. Под ред. и со вступ. статьей Веры фон Вирен. Нью-Йорк, 1973. 315 стр. \$9.95.

ИНДИЙСКИЕ ТРАКТАТЫ О ЛЮБВИ. Нью-Йорк, 1977, 133 стр. \$4.00.

НИКОЛАЙ КАТЕНЕВ. Костя Попандопуло и я. Нью-Йорк, 1977. 325 стр. \$6.95.

ЭДУАРД ЛИМОНОВ. Дневник неудачника, или Секретная тетрадь. Нью-Йорк, 1982. 249 стр. \$12.50.

ЭДУАРД ЛИМОНОВ. Это я — Эдичка. 2-е издание, Нью-Йорк, 1982. 281 стр. \$12.50.

ТАНАХ. В 3-х томах. 1. Пять книг Торы. Иерусалим, 1975. 271 стр. 2. Первые и последние пророки. Иерусалим, 1978. 494 стр. 3. Кетувим. Иерусалим, 1978. 394 стр. Цена комплекта \$29.00.

АНАТОЛИЙ ЯКОБСОН. Конец трагедии. Нью-Йорк, 1973. 236 стр. \$6.50

AVRAHAM SHIFRIN. The First Guidebook to Prisons & Concentration Camps of the Soviet Union. Швейцария, 1980. 379 стр. \$7.50.

ISBN: 0-89830-064-9